



КОВЧЕГ • ПИТЕР
СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ

Ковчег (ИД Городец)

Коллектив авторов

Ковчег-Питер

ИД «Городец»

2020

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Коллектив авторов

Ковчег-Питер / Коллектив авторов — ИД «Городец»,
2020 — (Ковчег (ИД Городец))

ISBN 978-5-907085-71-8

В сборник вошли произведения питерских авторов. В их прозе отчетливо чувствуется Санкт-Петербург. Набережные, заключенные в камень, холодные ветры, редкие солнечные дни, но такие, что, оказавшись однажды в Петергофе в погожий день, уже никогда не забудешь. Именно этот уникальный Питер проступает сквозь текст, даже когда речь идет о Литве, в случае с повестью Вадима Шамшурина «Переотражение». С нее и начинается «Ковчег Питер», герои произведений которого учатся, взрослеют, пытаются понять и принять себя и окружающий их мир. И если принятие себя – это только начало, то Пальчиков, герой одноименного произведения Анатолия Бузулукского, уже давно изучив себя вдоль и поперек, пробует принять мир таким, какой он есть.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907085-71-8

© Коллектив авторов, 2020
© ИД «Городец», 2020

Содержание

Вадим шамшурин. Переотражение	6
Часть I. Весеннее обострение	6
1	6
2	8
3	11
4	14
5	18
6	22
7	26
8	29
Часть II. Рассказы Андрея	31
Тики-тик	31
Аллергия на кошек	34
Беспамятство	36
Побег	39
Тело	40
Жизнь	43
Последняя зима	45
Анна Смерчек. Дважды два	52
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Ковчег-Питер

© В. Шамшурин, А. Смерчек, С. Прудников, А. Клочков, А. Бузулукский, 2020

© ИД «Городец», 2020

Вадим шамшурин. Переотражение

Повесть в рассказах

Часть I. Весеннее обострение

1

Меня разбудил резкий стеклянный звук. Кто-то кидал камушки. Второй этаж. Сторона солнечная. Жмурясь от яркого солнца, я выглянул в окно. Внизу стоял Андрюха.

Я прошлепал до двери своей комнаты, отдернул щеколду, выглянул в коридор. Все вроде было спокойно. Бабуль не спала, это однозначно, но и на кухне ее не было. Быть может, пребывая в похмельных снах, я не услышал, как она ушла. К примеру, на базар. Я заглянул в ее комнату. Ее не было и там. Так и есть.

Андрюха прошагал в мою комнату, не разуваясь. Меня всегда приводила в ужас эта его привычка. У него в доме не принято снимать уличную обувь, порой даже когда ложишься спать. Впрочем, почему бы нет. Если людям так удобно.

Андрюха бухнулся в кресло. Мартовское солнце уперлось ему в затылок. Он молча смотрел, как я собираю диван и запихиваю постельное белье. Потом подбираю повсюду вещи, которые вчера раскидал в пьяном угаре.

Помню, стараясь не шуметь, пробрался в свою комнату мимо дозоров бабушки, которая не спала, несмотря на поздний час, и, если бы не ее любимый сериал, она бы не прозевала меня и устроила мне полуторачасовую проповедь. Но я задвинул засов – и опаньки! – бурчи под дверью не бурчи, я в домике!

– Ох и крепко я вчера напился! – блаженно закатил я глаза.

Андрей дернул плечами, но ничего не сказал.

Я, впрочем, продолжать и не стал, меня больше беспокоило, где мой второй носок.

– Чай будешь? – спросил Андрея, обнаружив носок у себя на ноге.

Он скривился. Скрестил руки и сидел так довольно долго, потом наконец произнес:

– Буду.

Мы с Андрюхой друзья с детского сада, к тому же живем в одном дворе. Андрюха немного того, двинутый. Хоть и не пристало такое говорить о собственном друге, но что есть, то есть. У него мать и отец – алкоголики. Вот и причина.

Когда я прихожу к Андрюхе в гости, он редко приглашает меня войти, обычно треплется на лестнице. Трепаться у него на лестнице – в этом есть своя романтика, раньше целой дворовой компанией собирались, допоздна ржали и плевали на стены. Одно из развлечений – измазать один конец спички в мокром от слюны мелу и поджечь, затем швырнуть к потолку, почти всегда спичка цепляется мокрым мелом за потолочную пыль и догорает на потолке, оставляя после себя черный каплевидный след. Весь потолок на лестничной площадке в таких узорах.

Андрюха тихий, не прекословит, его родителям по фигу, соседям страшно, а нам весело. Хотя насчет соседей это я зря. Тут наблюдается определенная неоднородность, некоторые и правда настолько робки, что и носу не кажут, но другие – только успевай улепетывать. К примеру, неврастеничка из тринадцатой – то нас водой из таза окатит, то полицию вызовет, то с двустовкой вылетит в ночнушке и тапках. В общем, бывало ржачно.

Андрюха ест уже третий бутерброд – это я не к тому, что считаю, сколько он у меня ест, а к тому, что он постоянно голоден. Я обычно утром вообще ничего не ем: люблю чай сладкий с лимоном, и сегодня сию прихлебываю, а он за меня лопаёт. В этом есть свои плюсы: бабуль решит, что порубал все я – ей радость, а мне – спокойствие. Она за меня постоянно переживает страшно. По сути, она мне за мать. Мама умерла, когда я был еще совсем маленьким. Но я ее помню, помню, как она водила меня в детский сад. Это было осенью, под ногами расплывались гнилые листья. Я вертел пальцами кольца на маминых пальцах. Было темно, холодно и тоскливо.

Отец же постоянно в морях и океанах, и получается, что бабуль мне и за отца. Что не всегда здорово.

Андрюха дожевал третий бутер, потянулся к четвертому, но тут же отдернул руку. Я как бы невзначай пододвинул ему тарелку.

– Так ты пойдешь сегодня в школу?

– Нет.

– А я иду. Контрольная по математике.

– Уг у.

В этом весь он. Лишнего слова из него не вытянешь. Порой он похож на испуганного дикого зверька.

Я уже проспал первый урок. Вчера хоть и напился, но голова не болела, впрочем, как обычно. Бухали мы у Эдвина на кухне. Вершиной нашего опьянения был тот момент, когда мы забрались на стол и решили выпить за милых дам. Милые дамы, впрочем, тоже уже были невменяемы. Шарили под столом руками, расстегивали ширинки. И вот стоим мы на столе, ширинки расстегнуты, и в этот самый момент возвращаются домой родители.

Я в пять минут собрал рюкзак, накидав туда ручек и тетрадей. Андрюха тем временем завладел какой-то книжицей из книжного шкафа, в котором в тщательно подобранной цветовой гамме стояли полные собрания не читанных никем произведений. Луч солнца сверкнул на золотом тиснении. Разумеется, это был Достоевский. На вопросительный взгляд я равнодушно кивнул:

– Конечно, бери.

Мы вышли из подъезда. Ударило солнце. Пожали друг другу руки и разошлись. Я в школу. Андрюха незнамо куда, но наверняка уж не домой, а ходить-слоняться по старому городу.

Он идет, опустив голову, погрузившись в себя, в руке черная книга.

Солнце распирает небо.

Путь в школу имеет две здоровые траектории. Если использовать в качестве сравнения шахматные фигуры, то одна траектория – ход конем: шагаешь по Манто, приходишь до перекрестка с Дауканто, поворачиваешь направо, и уже видно красное типовое строение школы. Вторая средняя имени М. Кое-кого (Горького). Другая траектория – ход ферзем: по дворам наискосок, мимо немецких домиков, двух-трехэтажных, из труб которых испаряются локально отопительные дрова. По дворам гуляют курицы. В детстве именно здесь меня ловили хулиганы и не раз отбирали кровный рубль. Фильм про ниндзя в видеосалоне теперь посмотрит кто-то другой.

Второй путь более короткий – выигрываешь минуты три, но обычно все равно опаздываешь, так как выходишь из дома экстремально поздно, может спасти только чудо, но чудеса случаются крайне редко: в этом их главное качество.

Но можно обойтись и без чудес – завернуть по обыкновению в курилку.

Курилка – за зданием детской библиотеки.

Спокойно стоят, курят выпускники – последняя школьная весна. Мы дядьки – никого круче на всем белом свете – мы шуримся весеннему солнцу, жизнь наполнена и прекрасна. В сторонке стоят испуганные и наглые семиклассники – от асфальта метр с бумбончиком, а уже в поисках крутости: экономят на завтраках, покупают первую пачку Red&White, а потом бледнеют, кашляют и от третьей затяжки блюют.

Я пробегаю мимо. Я и так опаздываю. Покурю на большой перемене вместо школьных котлет с отвратными макаронами. Двери школы на перемены закрывают. Поэтому часто курим в туалете в малышовском крыле. Учительницы начальных классов почти что наши ровесницы. Стоят с нами, судорожно затягиваются – только так и можно успокоить нервы от этих маленьких засранцев: «Коля из второго “А” меня опять послал!»

Я спешу на историю. В классе появилась новенькая. Она будоражит мое воображение. Ночами я не могу заснуть – думаю о ней.

Так исторически сложилось, что я был влюблен почти в каждую девчонку нашего класса.

Я был влюблен в Аню, сидел с ней за одной партой во втором классе и, пока ей не прописали очки, терпел от нее постоянные: «Что-что там написано? А там? А третий пример?» Мне это нравилось, но я ворчал, чтоб не быть уличенным в дружбе с девчонками.

Я был влюблен в Машу: ходил к ней домой вышивать слоников крестиком.

Я был влюблен в Олю: сидел с ней на английском и все у нее списывал.

С Мариной мы гуляли по коридорам школы, взявшись за руки.

Карина – Ирина – Катерина – ... кому-то я носил портфели, кого-то целовал в парадной, у кого-то учился расстегивать лифчики, у кого-то – снимать трусики зубами.

Моим влюбленностям несть числа. Но постоянство утомляет. Так порой хочется изменить. Как только я увидел новенькую, я понял, что нельзя упустить эту возможность.

Каштанка. Волосы до плеч, чуть вьются. Глаза зеленые. Хлоп-хлоп ресницами. Скромница. Красотка. Впрочем, пора начинать мою историю.

Ее зовут Дануте, она приехала из Вильнюса.

2

В Клайпеде полно каштанов. Их листья взрывают огромные липкие почки, появляются бледно-зеленые кулачки, темно-коричневая шелуха летит вниз, падает на прошлогодний опад. Написал про Дануте «каштанка», и вспомнилось, как мы с Витюхой, набрав каштанов, сидели на остановке, рядом с кинотеатром «Жемайтия», и бросали их на проезжую часть. Давали им имена ненавистных одноклассников и учителей. Был Барвен – директор школы. Был Куликов – толстый и весь какой-то засаленный, грязноволосый, потеющий. Был Давыдов с его бабушкой. Мы взрывали его пеналы новогодними бомбочками и воровали бутерброды из портфеля, а его бабушка таскала нас за уши. Каштаны прыгали по дороге, скорее-скорее, лишь бы успеть на другую сторону. Но везет крайне редко, и вот, застыв от ужаса, смотришь, как мчится на тебя автомобильное колесо, сдавленно вскрикиваешь, а потом понять не можешь, почему это ты такой плоский. А мы с Витюхой ржем и даем новые имена.

Такие вот воспоминания вызывала у меня Дануте.

– Да ну тебя, Дануте!

– Да ну тебя, мой милый Дим!

Точно.

В советские времена было модно отдавать детей в русские школы. Но не только по причине интеграции, ассимиляции или еще какой -ции, часто мама или папа были просто русскими по национальности или, наоборот – литовцами, и поэтому существовало всего два воз-

можных варианта: отдать ребенка в русскую школу или в литовскую. Вот, к примеру, Витюху отдали сначала в литовский детский сад, потом в русскую школу. Не думаю, что от этого он что-то там выиграл или потерял. Хотя, может быть, сейчас было бы лучше, если бы он учился в литовской школе. Но нет, это все ерунда, теорема недоказуема. На самом деле не знаю, почему я заговорил о Витюхе, а не о Дане. У нее, в общем, похожий случай, поэтому она со мной сейчас и рядышком. Это я к вопросу об ее литовском имени. Но она не совсем литовка. Мама у нее русская. И так как воспитывает ее только мать, то вопрос о национальности снимается. Для меня он вообще не злободневен. Мне, да и многим, все равно, на каком языке ты разговариваешь. Все дело в понимании.

Ерунда это все. Только старики и политики по этому вопросу и загоняются. Уж если говорить о национализме, в основном эта штука обсасывается только ими. А как по мне, если не нравится тебе человек – русский, литовец или еще там кто, – бей в лицо или плюй в глаз.

Тем более что разница стирается. Русские школы превращают в литовские. Так школа Максима Горького превращается в Gorkio mokykla. И Иван Иванов превращается в Йонаса Ивановаса. Зачастую болезненно.

Помню, как веселили нас костры и танки на улицах. Но что-то меня все тянет на воспоминания, словно какого пенсионера, а до пенсии мне еще расти и расти. Мне шестнадцать, весна на улице, 1997 год. Сажу на уроке литовского, ловлю и прячу Данутины взгляды. Пытаюсь ее рисовать – это получается несравненно хуже, чем мертвецы и монстры. По пятницам кружок рисования у Эмиля Игоревича. Сам он любитель рисовать натюрморты, немецкие домики – те самые, с дымными трубами. Но он не противится моему пристрастию к изображению кровавых сцен – плати только денежку. Но я, наверное, к нему не совсем справедлив, быть может, он считает, что из меня что-нибудь да получится. Его кружок кроме меня посещают первоклассники и дети завучихи.

В кабинете литовского столы расставлены не в три ряда, а буквой «П», поэтому наблюдать за Даной и оставаться незамеченным сложно и не нужно. Мы до сих пор и словом не обмолвились. А свой интерес к ней стоит проявлять более явно.

Дана сосредоточенно склоняет множественные числа страдательного залога. Солнечный луч падает на ее руку, делая ее по-зимнему еще более бледной, видны голубые венки. Рисовать руки – самое сложное. И хотя по всем правилам нужно сначала набросать фигуру полностью, затем начать уточнять детали, но никогда я не придерживаюсь этого правила: всегда сначала рисую глаза, остальное – потом. При этом остальное с ними вяжется крайне редко: комкаю, запикиваю между пальцами. Пробую рисовать ее грудь. Опять же – очень похоже на глаза.

– Dima, ką jus darote? – Дима, что вы делаете?

– Nieko, Irena Jonovna. – Ничего, Ирена Йоновна.

– Kodėl gi nerašote? – Почему не пишете?

– Rašau. – Пишу.

Говорить по-литовски мне тяжело. Все время теряюсь, и язык не слушается. Краснею, заикаюсь, подмышки льют ручейки пота. Да впрочем не только по-литовски, но и по-английски, и в большинстве случаев по-русски. По-грузински проще. Знаю пару слов и одно ругательство: «Гамарджоба, генецвали, мадлопт, захрума – захрузма!»

Моя бабуль родом из Тбилиси. Говорит по-русски с легким акцентом. Одно время она пыталась научить меня грузинскому, но оставила все попытки, когда три дня подряд я ходил за ней и, копируя манеру кавказцев импульсивно жестикулировать, говорил:

– Вах, бабюшка, умэю гаварит я по-хрузинскы, как ти понят нэ можишь, вай ме!

Приезжали родственники из Грузии, привозили злого сиамского кота и моего троюродного дядю, который пропадал ночами по злачным местам Клайпеды и постоянно лечился от всяких венерических болезней. Приезжали тетя Вера и дедушка Рема – бабушкин старший брат, от чего мой «грузинский» становился только лучше. Они приезжали каждое лето до тех

пор, пока не закрыли границы. Я боялся сиамского кота и мучил своего троюродного дядю, заставляя его по утрам, как только откроет похмельные глаза, рисовать или срисовывать с фотографий афиш заграничных фильмов разные черепа и ужасы. Когда в Грузии началась война, он ушел добровольцем, и его контузило разорвавшимся рядом снарядом, первое время он совсем не мог разговаривать, а сейчас говорит, но страшно за-за-заикается.

Теперь только и возможно, что звонить им изредка. Дорого.

Впрочем, во мне от грузинских кровей совсем чуть. Если моему отцу от всяких уродов еще достается по причине темной кожи (черножопости), то я давно что-то не получал.

К примеру, идет мой отец пьяный, во внутреннем кармане бутылка водки, обязательно поймают и отменят. Клайпеда город темный, к тому же портовый, и как следствие – бандитский. Полно наркоманов, пьяниц и насмотревшихся фильмов про крутящих ногами супергероев и мечтающих быть на них похожими. Город полон мечтателей.

Взять, к примеру, Андриюхину семью. Мечтатели. Отец и мать бухают, мечтая о том, чтобы времена былого благоденствия вернулись. А сам Андрияха мечтает превратить весь мир в иллюзию, где можно было бы взять однажды и перевернуть страницу или начать читать заново, перечеркивая или переписывая непонравившиеся места. Чем такие мечты кончатся?

А я мечтаю целовать Дану в живот и во всякие другие места. И если меня сейчас вызовут к доске, то я не смогу подняться из-за парты вследствие того, что джинсы уж слишком обтягивающие.

Звенит звонок, собираешь рюкзак и странной походкой вслед за Даной покидаешь класс. Джинсы вскоре уже не так жмут, но волнение не проходит, а только усиливается. Я словно болен. Мир лихорадит и плавится. Куришь в туалете, но лучше не становится. Тошнит, словно семиклассника, но, может, это запоздавшее похмелье. Вряд ли, скорее – прелесть полового созревания и внезапно нахлынувшая на город весна. Кривишься. Решаешь на следующий день надеть джинсы попросторнее.

После школы плетешься за ней, как бездомная голодная псина. Не следишь и не преследуешь, просто хочется, ой как хочется, сократить это расстояние и быть близко-близко. Идешь и вспоминаешь, как мог бы потерять девственность. Пьяно, грязно. Прошлым летом на даче у Эдвины в теплой ночи на мокрой от росы траве, сползая по склону в реку с пьяной Катей, необъятно толстой и хрипло смеющейся твоему судорожному дыханию и незнанию, куда что вставляется, спящей по пьяни с кем ни попадя: после меня еще человека три на очереди, в волнении разгораются угольки сигарет, курят «Приму».

Но, быть может, всего этого не было. Надеешься, что это все только приснилось, сны в последнее время совершенно неотличимы от реальности, и постоянно путаешь одно с другим. И правда, какая разница. Перед Даной стыдно, поэтому не приближаешься. Недостойн, слаб, грязен – себя мучаешь, чуть не плачешь от отчаяния, готов повеситься. Вешаешься. Висишь под ее окном, при ее взгляде во двор приветливо машешь рукой. Теплый ветер тебя слегка покачивает. Знаешь, что скоро начнешь пованивать и от мух уже нельзя будет спрятаться. Поэтому становится жалко себя. Не сразу замечаешь, что уже вплотную подошел к Дане, она остановилась и смотрит своими большими зелеными глазами.

Я делаю вид, что даже не узнал ее, что просто иду по своим делам. Вхожу в совершенно незнакомый подъезд. Сижу минут десять в темном, сыром и кислом от мочи подъезде.словно мартовский кот, метящий территорию, не в силах терпеть, ссу кому-то на коврик. Становится легче.

3

Сегодня опять солнечно. Просыпаться легче. Несмотря на ранний час, во дворе уже не так холодно. Надеваю легкую курточку.

Вообще-то в Клайпеде очень гнилой климат. Имею в виду, кроме чрезмерной изменчивости погоды, еще и постоянное присутствие туманов и дождей.

С литовского название города переводится «след Клая». Согласно легенде, давным-давно жили на земле два брата, одного из которых звали Клай. Однажды Клай ушел на охоту и не вернулся, и тогда его брат отправился искать брата, долго шел он по его следам и зашел в болото. Долго шел он по болоту, пока не нашел последний, очень отчетливый след своего брата, после которого не было ничего, только топь, и понял брат, что нет больше брата, и заплакал. Наполнился след Клая слезами брата, и, уважая его горе, земля сохранила этот след на долгие столетия в предупреждение забредшему в болото путнику. На этом месте и возник впоследствии город Клайпеда.

Вчера весь вечер маялся. На улице было слякотно. Идти никуда не хотелось. Читать – нет. Рисовать своих монстров – нет. Лежать на диване – нет. Смотрел «Санта-Барбару» вместе с бабуль, переводил ей с литовского, удивлялся себе – все понимаю, но сказать ничего не могу. Как собака.

Бывает, все надоедает, чувствуешь полное отвращение к жизни, понимаешь отчетливо свою никчемность. Зачем ты нужен такой? Только знаешь, что все было бы по-другому, если бы хоть раз уже прикоснулся к женщине и ощутил под своими руками ее кожу, узнал, как это, чувствовать жар чужого голого тела. Думаешь вовсе не о Дане. Женщина – становится чем-то обезличенным, безмянным и чуть ли не бестелесным, ослепляющим своим свечением. Мужчины любят глазами, чем же любят юноши? Быть может, мечтами?

В моих мечтах женщина старше меня на лет десять. Она совершенно голая гуляет по квартире, бабуль ее не видит – поглощена сериалами – одним за другим со времен «Рабыни Изауры». Голая женщина бесстыдно виляет бедрами, и грудь ее колышется от плавных движений. Она совершенно бесшумна, беззвучен смех, блестят в электрическом свете ровные белые зубы, темнота вечера рисует ее отражение в оконном стекле. Окно запотеваает, стекло как будто изъедено холодными каплями.

Я беру ее за руку, запираюсь в своей комнате и... но и этого не хочется.

Хандра. Весенняя апатия. Не хватает витаминов. Дергаю зубами заусеницы, собираю ртом с пальца кровь. Ем.

Жаль, что у меня нет собаки. Звали бы ее, допустим, Мара. Пошел бы в парк при Доме офицеров. Ходил бы по битому кирпичу дорожек, закидывал голову, считал звезды. Их было бы видно, ой как отчетливо их было бы, ой как много. Стоп. Если бы не было так пасмурно. Быть может, встретил бы возвращающегося в общежитие пьяного Альгиса, был бы избит до потери сознания, валялся бы до тех пор, пока на меня не наткнулись Адомас, Нерька и Арне-стас. Они подняли бы меня, отряхнули, поинтересовались, нет ли у меня денег. Я сказал бы: «Есть, в носке заначка – вытаскивайте», вместе бы мы пошли в ларек и купили пива, а потом сели на мокрую скамейку под дикой яблоней и разговаривали о жизни и мергинос (что значит – девушках), не мучая себя: «как это сказать по-литовски...», а без всяких словарей, понимая друг друга с полуслова. Что запросто.

Тогда получалось бы, что я и понимающая, и говорящая собака.

Жаль, что у меня нет собаки.

Вчера весь вечер я так промаялся. Не мог заснуть. На хрена все эти дневниковые записи.

Я сидел на уроке английского и плавился. Маленький кабинет в шесть парт был затоплен солнцем, за окном таяли последние грязные ледяные кочки, пуская воду по быстро просыхающему асфальту. Училка Людмила Ивановна, коротенькая старушенция советской закалки, опять диктовала нам песню. Песня была про долгий путь к сердцу Мери. Мы уже изучили тучу песен и, по-видимому, должны в будущем при встрече с каким-нибудь иностранцем на его вопросы отвечать какой-нибудь песней.

– What time is it?

– It's long-long way to Tipperary, it's long way to go!

Примерно так.

Андрей по-прежнему в школу не ходит. Все из-за этой же Людмилы Ивановны. Однажды она попросила его задержаться после урока.

– Андрей, я узнала про твоих родителей. Это очень грустно. Бедный мой мальчик. Тебе живется несладко...

Андрей опустил голову и покраснел. Забилась нервно вена на его шее.

– Я обсудила создавшееся положение с моей подругой, а она со своей дочкой. Мы решили купить тебе одежду. Она здесь в пакете. Пиджак, брюки. Тебе должно подойти. Примерь, пожалуйста.

Он поднял глаза. В глазах была то ли боль, то ли ненависть. Не сказав ни слова, отпихнув пакет с одеждой, он вышел вон.

Я догнал его, взял под локоть, он дернулся и рванул по коридору, в ярости задевая плечами попадающих навстречу парней. Он почти бежал, не реагируя на их возмущенные оклики.

Я вижу на улицах города бомжей и пьяниц, их не становится ни больше, ни меньше, но лица их меняются. Порой мне все это странно до отвращения. От сладковатого запаха разложения их жизни хочется зажать нос. Проходишь мимо, бросаешь монетку, от этой вот своей милости становится не по себе. Наваливается усталость, идешь, на ходу засыпаешь, видишь, как проступает отчетливый сон:

...собака лижет пьяное лицо. Во вспухших веках и мутных глазах наблюдается движение. Вместе со спиртным запахом растекается улыбка. Пьяная женщина что-то бормочет, и если это слова, то они обращены к собаке и в них что-то от перебродившей нежности. Собака извивается, виляет в радости – бьется хвост. Прыгают в шерсти блохи. В комнате полумрак.

В городе вечер.

Зажигаются лампы на улицах. Пьяный мужчина нетвердо бредет в тени деревьев, пряча в кулаке какие-то деньги. В тридцать лет все было иначе: пить вино, щупать телок за толстые ляжки, теперь даже и не вспомнить – так дрожат пальцы и колотится сердце.

Он переходит улицу, ныряет в подворотню. Совсем темно, только пропечатаны светом окна четвертого этажа. Мигают звезды – россыпью. Скрипит и бьется ржавая пружина. Он поднимается выше: у бабы Риммы дешевый самогон.

На обратном пути его избивают молодчики, смеются и крутят ногами, как на шарнирах, вскрикивая по-модному «кий-я!» – по-китайски.

Его лицо-тело в ранах и ссадинах.

В комнате полумрак. Рядом что-то лепечет пьяная женщина. Тянет тонкие руки, ищет хабарики. Бегут-разбегаются по столу тараканы.

Над пьяной женщиной, пьяным мужчиной, тараканами – стоит бледный юноша. В отвращении морщится. Зовут его Павлик, Дед Мороз ему родственник. В отвращении смотрит, как целуются собака и пьяная женщина. Внутри ненависть.

Пьяный мужчина протягивает кулак, там – смятая купюра. Юноша кивает, разворачивает, разворачивается. Уходит.

И уже не возвращается.

Сидит в кофейне, тратит смятую, щиплет за жирные ляжки студенток. Жалеет себя...

...просыпаешься. Облегченно вздыхаешь – сон – всего лишь сон.

Но на хрен такие сны!

Как мало сюжета в этих моих последних днях. Сны, мечты, пространные размышления. А не напиться ли мне сегодня?

– Айвар, что сегодня делаешь вечером?

– А что, где-нибудь кто пьет?

– Есть предложение.

Подходят Димка Носко, Саня Жеболаев – у каждого в ушах кнопки наушников: слушают жесткие басы Metallica. Наушники из ушей выпрыгивают:

– Ага, и мы не против! Куда идем?

В своем малиновом пиджаке подплывает Вадька Гусев:

– Весну нужно отпраздновать.

Тут же Эдвин:

– Не, ребята, не ко мне! У меня все двери досками заколочены, на коврик спит старушка с ружьем.

Выныривают из объятий Вовки Гусятина Вика и Шишка:

– Мальчишки, мы с вами!

Олег Луканов крутит ключами от новой машины, подаренной папой:

– Вы все не поместитесь, так можно было бы сгонять в Палангу.

– На хрен Палангу! Давайте на море!

– Холодно!

– Или в городской парк.

– Поехали!

Звенит звонок на последний урок. Все дружно проходят мимо кабинета музыки. Спускаемся в фойе первого этажа, выламываем входные двери, на мгновение ослепляет солнце, от свежего воздуха в головах уже хмельно. Прогуливаем всем классом. Дана должна быть где-то тут. И правда, поворачиваю голову, она как раз краешком глаза поймала мое движение и тоже смотрит на меня. Я не будь дураком улыбаюсь, но загораживает ее пингвин нашего класса – Ермолаев, существо из параллельного мира, – и мне не поймать ее ответную улыбку. А чертов Ермол плавно шагает себе и в свой пушистый ус не дует. Хлопает пушистыми ресницами, женственно и призрачно так улыбается.

Мы пошли в Iki, затоварились. Размеры алкогольного отдела впечатляли: в этом первом в городе супермаркете, казалось, можно заблудиться. Поговаривали, что и правда были случаи. Сэкономив по три цента с бутылки, мы тормознули автобус, запрыгали в руках ученические, исчезли в ладони кондукторши кругляшки монет. До городского парка три остановки – и там уж можно не бояться полиции, на манер западной следящей за моральным обликом молодого поколения. Хреново следящей. Но мы-то что, мы клей не нюхаем. Впрочем, Вадька и Эдвин пробовали. Судя по рассказам, в этом что-то есть. Быть может, это тот самый пункт в списке того, что следует в жизни испытать, требующий, по крайней мере, галочки.

Я пробираюсь к Дана. В моем брюхе плещется уже целая бутылка пива, в руке вторая, я весел, энергичен и самоуверен. Все бредут толпой по парковым дорожкам, солнце клонится к горизонту, спотыкаясь лучами о гипотенузы сосен (сумма квадратов катетов и так далее). Воздух тяжел и пахнет шишками. Густеет вместе с падающим солнцем холод.

Она говорит о чем-то с Наташкой Стефанович, которая чем-то похожа на Софию Ротару, впрочем, наверное, натянутой кожей лица и волосами, собранными в конский хвост.

– Привет, девчонки, – говорю я.

Наташка едва достаивает взглядом:

– Уже виделись...

Но мне на нее в данный момент наплевать.

– Дануте, как тебе наш класс?

– Хороший класс, дружный!

– Да, наш класс дружный! – ухмыляюсь.

Стефанович на меня косится, мол, что этому кобелю тут надо.

– Я Дима, – не отрываясь, наглый, смотрю прямо в глаза Дане.

– Я знаю, – отвечает она; мне кажется, на ее щеках легкий румянец.

И я, счастливый, убегаю.

Ко мне пробирается Батизад. Наглый, хулиганистого вида, весь в цепях и серьгах. Он уже порядком выпивший. Глаза его зло горят, на губах в самых уголках белая пена:

– Слышь, чмо! Оставь ее в покое...

– Чего? – я тоже пьяный и возбужденный. – Ты будешь мне указывать?!

– Я тебя, тварь, предупредил!

Победа, как видится, за мной. Свободный и счастливый готов выпить с каждым. Напиваюсь пьяным.

Нахожу себя наутро дома. В руке зажата бумажка с каким-то телефоном. Питая надежду, звоню:

– Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Дануте.

– Привет, Димка, – отвечают, – Какая на хрен я тебе Дануте, я Арина, мы познакомились в баре. Помнишь?

– Нет!

Вешаю трубку. Карманы пусты. Голова тоже.

4

Стучусь к Андрюхе. Звонок не работает. Барабаню ногой со всей силы, пробивая до дыр тупым массивным ботинком фанерную дверь. Заглядываю в дыру – темно, все без движения. Вдруг дверь дергается и открывается, вижу настороженный глаз.

– Тебе чего?

– Андрей дома?

– А, Андрей, – дверь раскрывается шире, появляется вспухшее, болезненно серое лицо. – Зайди.

Я протискиваюсь внутрь, по-прежнему темно, еще темнее, когда закрывается за мной дверь. Я знаю, ничего теперь не стоит огреть меня кочергой, выскрести из карманов деньги, снять куртку, ботинки, джинсы, для верности всадить мне в сердце нож, а потом, пропив мои деньги, продав мои вещи, срезать с моего тела мясо и стоять на углу у аптеки и предлагать его прохожим под видом только что освежеванной свиньи. Вот идет бабуль, она останавливается и покупает, варит из меня суп, ждет, когда я вернусь из школы. Я поем и, быть может, попрошу добавки.

Но ничего такого не случается, открывается еще одна дверь, я попадаю в прихожую, чуть не наступаю в собачье дерьмо, которое лежит прямо на пороге, собака тут же, прыгает и радуется, и для полной картины от радости мочится.

Тусклый свет добирается с кухни. А это болезненное существо, по всей видимости, женщина, сгорбившись, кутаясь в грязный халат, медленно выходит на свет. Меня поражают ее белые в содранных болячках руки, поражает ее худоба. Я, обалдевший, все так же стою без движения, только у ног извивается лохматая грязная собака. Я, честно, такого не ожидал.

– Извините, Андрей дома?

Но никто мне не отвечает.

В квартире гробовая тишина, я иду по коридору, вижу перед собой дверь, еще две двери по каждую руку. Мне кажется, что дверь в Андриюхину комнату слева, я приоткрываю ее. Вижу кровать, на ней в гряде грязного тряпья спит человек, прямо в одежде, только ширинка расстегнута и видно отсутствие нижнего белья, в воздухе стоит тяжелый запах перегара. Я распахиваю дверь шире, передо мной окно, перед ним еще одна кровать, и, хотя на ней такой же грудой лежит всякое тряпье – видны скомканные серые простыни, – на ней нет никого. Больше в комнате нет ничего, на стене виден след стоявшего здесь шкафа, в углу навалены платья и пальто, какие-то советские книги. Человек на кровати ворочается и открывает глаза, смотрит на меня невидящим взглядом, кожа лица отчетливо желтая.

– Андрей здесь? – спрашиваю.

Но лицо искривляется, глаза в мучении закрываются. Мне не отвечают. Я прикрываю дверь.

Я стучусь в дверь напротив, толкаю плечом, передо мною маленькая комнатка. В окне небо, деревья с кисточками первой листвы. Все остальное в комнате погружено в полумрак и покрыто ровным слоем пыли: стол, телевизор, сервант с застывшим в нем тусклым хрусталем и ровными корешками книг. Крашенные темной краской доски пола со следами босых ног, обрывающиеся посередине комнаты. Я смотрю вверх – люстры нет, только черный крюк. Но и здесь никого нет.

Иду на кухню. Там сидит маленькая измученная похмельем женщина, болезненно курит, сутулится, смотрит на меня в раздражении:

– Принес?

– Что принес?

– Не юродствуй, доставай скорее и наливай...

– Но у меня нет ничего.

– Тогда иди скорее и принеси, а то я сейчас сдохну!

– Мне только нужен Андрей.

– Андрей?.. Его нет... Его больше нет...

– В смысле?

– Ты принес? Наконец! Доставай скорее и налей мне, я очень прошу, не мучай меня, налей!

Боже, все это просто неправдоподобно, я пячусь к выходу, меня охватывает ужас, панический страх, я разворачиваюсь и чуть ли не бегом устремляюсь к выходу.

На лестнице встречаю его, Андрея.

– Ну слава богу! Ты живой!

– А почему я должен быть мертвым?

– Я только что был у тебя, твоя мать сказала, что тебя больше нет!

– Меня нет, я для них больше не существую, есть только это...

Он достает бутылку водки, ухмыляется.

– Ты что, ходишь им за водкой?

– Да.

Он отпихивает меня, поднимается по лестнице.

Я слышу тихое:

– Чем скорее они сдохнут, тем лучше...

Я иду, меня пробирает озноб. Ветер продувает навывлет мою легкую курточку, небо заволакивает облаками, начинается снег. Крупные пушистые снежинки. Мир становится сумрачным, холодным и пустым.

Мне становится страшно и одиноко. Нет меня во всем городе, город пуст, все умерли и похоронены, все собаки и кошки сдохли, а птицы попадали с неба мертвыми, и я точно знаю, что умру сейчас и я – в следующее мгновение, и этому никак не помешать, но больше пугает не смерть, а именно одиночество. С твоей смертью пустота не заполнится ни печалью, ни доброй памятью. Вот это ужасно.

– Привет, Димка! – из снежной пелены появляется Дана, мне тепло улыбается. Я теряюсь и застываю посреди тротуара, на меня налетает прохожий, бурчит: «Асилас».

Дана тоже в легкой курточке. Тепла улыбок не хватает, плечи ее подрагивают.

– Зима вернулась.

– Да, – отвечаю. Потом, спохватившись: – Слушай! Идем в кафе?

– Идем! А куда, я здесь ничего не знаю...

– Ну как же! Тут совсем рядом!

Тащу ее в кафе «Сваля», что на левой стороне Манто, при пересечении с Маж-видо-аллеей, веду мимо столиков, приставленных к стойке бара. Кафе похоже на вагон-ресторан – такое же вытянутое, и так же покачивает, когда разворачиваешь поезд на обратный путь домой. Но не пить мы сюда сегодня пришли. Нет-нет, не неси, официант, улыбаясь и подмигивая, пиво со специальным раскрепощающим порошком! Неси сегодня кофе! Два кофе! И не дергай ты так похабно своим правым глазом, пойми, это же Дана, моя милая Дана!

– Как тебе здесь?

– Классно, но уж больно накурено!

– Хочешь, уйдем!

– Нет-нет, давай просто попьем кофе.

Несут кофе, ставят нам на столик. Рассеянно киваю – весь в опасениях сморозить или сделать что-то не так.

– Дима, ты так вчера напился. Меня целовал.

– Правда?! – ужасаюсь.

– Шутка! – смеется. – Ты правда ничего не помнишь?

– Нет. Я вел себя ужасно?

– Предлагал нам пожениться.

– А ты?

– Я, конечно же, была согласна.

– А потом?..

– А потом ты с Айварами, с Большим и Маленьким, куда-то срулил.

Так вот почему так ухмыляется этот официант. Мы бухали именно тут. Именно тут я и подцепил какую-то кралю, помню, тискал ей сиськи и целовал взасос. А Айвары вдвоем напротив хлестали рюмку за рюмкой и меня провожали в дальний путь. Я вспомнил, что это было что-то вроде мальчишника.

Справка. У нас в классе есть два Айвара. Один очень высокий – играет в баскетбол и говорит по-русски с едва заметным стальным акцентом. Другой – коренастый, жмет у себя в подвале штангу и курит траву с Тимкой из соседней парадной. Носит широкие штаны и слушает Ice Cube. Большой Айвар предпочитает пиво и литовскую попсню. Что Большой, что Маленький – они мои дружбаны. Как уже стало понятно, частенько все вместе, и с Витюхой тоже, напиваемся вдрабадан! Витюха смешно чихает и чем-то похож на индейца из книжек Фенимора Купера. Книжки я не читал, но видел картинки – вылитый Витюха! Пьем частенько и у Витюхи на квартире, режемся на Sega – в «Мортал Комбат», смотрим порнуху и фильмы с Джимом Керри и веселыми ниггерами. Все это удивляет и радует. Маленький Айвар шарит в математике. Витюха много прогуливает из-за того, что много спит. Но только Большой Айвар и может вытащить меня из дома, когда у меня хандра. Конец справки. Продолжаем разговор...

Кто-то кидает камушки в окно. Наверное, Андрюха, но я лежу на своей кровати и даже не думаю выглядывать в окно. Мне он стал неприятен. Так нельзя. Я ничего не понимаю. Но мне плевать. У меня есть Дана. Думая о ней, я улыбаюсь.

Раздается звон разбитого стекла, в комнату влетает массивный булыжник.

– Ты что, охренел?! – подлетаю я к окну. Смотрю во двор. Там никого нет, только ветер тащит по земле лист газеты. Испуганно поджав хвост, пробегает мимо собака, шмыгает под арку.

Небо серое. Неприветливое. Бабуль храпит за стеной. В комнате быстро становится холодно. Меня пробирает дрожь.

Вздрагиваю от телефонного звонка.

– Алло!

– Алло! Алло! Сын!

– Папа?!

– Слышишь меня? Как вы там?

– Хорошо папа! Все хорошо! Как ты? Мы очень скучаем!

– У меня все отлично! Мы сейчас у берегов Аргентины! Скоро уже поплывем домой!

– Папа, как погода? Хотя плевать... Сейчас позову бабушку!

– Сын, как ты? Как учеба? Я не слышу тебя! Как бабушка? Дима! Я не слышу...

Связь обрывается. Слушаю, сжав судорожно трубку, короткие гудки. Жду. Жду чуда! Так хочется опять слушать отца, его взволнованный и радостный голос. Я понимаю, что невероятно по нему скучаю, по щекам текут слезы. Я не замечаю, я пытаюсь между коротких гудков поймать его голос.

– Папа, я так по тебе скучаю...

Комната усыпана осколками. Телефонная трубка захлебнулась гудками. Бабуль спит. Я сползаю на пол, и у меня начинается истерика. Слезы душат меня.

– Я так по вам скучаю...

Мне было шесть, когда умерла мама. Я ничего не понимал. Совсем ничего. Мне только сказали:

– Мама улетела на небо.

Но не настолько я был мал.

– Мама умерла?

– Да.

Вокруг меня были одни незнакомые люди, они меня гладили по голове и повторяли:

– Бедный мальчик...

– Почему мама умерла? – допытывался я.

– Она болела и умерла.

– Почему врачи ее не вылечили? – не успокаивался я.

Я не плакал. Был серьезен, сосредоточен, требователен к ответам.

А они все повторяли:

– Бедный мальчик.

Я смотрел на маму. Она, закрыв глаза, лежала неестественно вытянувшись, была ненастоящей. Я еще сомневался, но, когда мне сказали поцеловать ее в лоб перед тем, как ее начнут засыпать землей, под губами я почувствовал что-то очень холодное и твердое. Как лед. Я заплакал. Заплакал от ужаса.

Они шептали вокруг все одно и то же:

– Бедный... бедный...

А я точно знал, что меня обманули. Что это не может быть моей мамой. И я очень боялся того, что закапывали. Я обхватил ноги отца, вжался в них и дрожал. И требовал:

– Я хочу к маме! Пустите маму ко мне.
Мне казалось, что ее не пускают все эти люди. Я рыдал от ненависти к ним.

Смотрите, вот фотография. Я сижу рядом с мамой. В руках у меня шариковая ручка, я рисую самолеты со звездами на крыльях, но теперь отвлекся и смотрю в объектив. Улыбаюсь. Улыбается мама. Наши улыбки очень похожи, овал лица, глаза мамыны, нос папин. Мама чистит картошку и бросает ее в кастрюлю с водой, картошка, падая, брызгается, капли взрывают мои самолеты. За нашими спинами, посмотрите, видны старые часы с кукушкой, часть окна, занавески, тюль с крупными изображениями ромашек. Мама в домашнем халате. Я в оранжевой пижаме. Фотография черно-белая.

Еще есть аудиопленка.

– Мама, я хочу риса.
– Больше ты ничего не хочешь?
– Мама, я хочу риса!
– Расскажи лучше стишок.
– Какой стишок! Какой еще стишок! Я уже скагал.
– Не балуйся! Вот на елку пойдешь – что ты будешь рассказывать Деду Морозу?
– Вырастала елка!!!
– И все?
– Все!
– Ну и подарка не получишь! Вот в прошлый раз только благодаря мне ты получил котика!
– У меня уже был такой котик, не надо мне два таких котика...
– Ы-ы! Поплачь...
– Ты! Поплачь!
– А если Лена придет, что ты ей скажешь?
– Лена, покажи калена!.. Писать хочу!
– Давай, пописай в баночку.
(журчащий звук)
– А-а-а... – блаженный вздох.
– А теперь покакай, – смех.
– Риса хочу!

Приходит Большой Айвар, чуть ли не силой вытаскивает меня на улицу, спасает от накатившей тупой меланхолии. Идем к Маленькому Айвару. Берем с собой его собаку. Зовут ее Герда, порода «колли», добрая и неповоротливая. Идем в парк Мажвидаса, материмся, пошлим, разглядываем идущие впереди задницы. У меня выпытывают подробности моего соития с Даной, я бессовестно вру, со смехом имитирую, как она вскрикивает в экстазе, а самому мерзко и печально. По-прежнему пасмурно.

5

Последняя фишка – спать по два часа в сутки. Ночью либо рисую, либо читаю. Собственно, не важно, чем ты занимаешься, главное, ради чего ты себя мучаешь, – это тишина в квартире, в городе. Человеческое существование невероятно захламлено звуками. Только ночью словно снимаешь с себя грязные одежды, слоняешься голый из комнаты в комнату, разглядывая себя в черно-белые зеркала. Ты возбужден и беззвучен, расправляет крылья черная уродливая летучая мышь. Перелетает с места на место. Пытаешься поймать ее взглядом, но

видишь только краешком глаза. Запираешься в ванной. Долго смотришь на себя в зеркало, глаза в глаза – ни намека на сон. Маешься.

Просыпаюсь с рассветом. Смотрю, сидя на кухне, как светлеет воздух и ползут длинные тени. Небо сильное, краски еще не разбавлены дневной суетой, солнце испаряется. Метла печального дворника скребет асфальт. Завариваешь кофе, пьешь медленно, не спеша. Поднимается бабуль, звуков все больше и больше, звенят кастрюли, бьются и пищат водопроводные трубы, дом просыпается. На лестничной площадке уже слышны перебирающие ступени шаги – шуршат подошвы.

На первый урок все равно опаздываешь. Это как курить – вредная привычка, от которой так просто не отделаться. Математичка ставит в журнал всем опоздавшим нолики. Берешь мел и, вместо того чтобы решать примеры с производными и интегралами, ставишь крестики, но вот ответный нолик – опять никто не победил. Ладонью все размазываешь. Еще пытаешься доказать теорему, но это невозможно, так как язык не слушается, и слово «перпендикулярно» – превращается в «перпендир». Все ржут. Тебе вяжет язык. Хочется подойти к окну, распахнуть его и покурить. Математичка издевается. Поднимает одного за другим – ищет решения.

Саня Желобаев, сморозив полный бред, возмущенно вскакивает:

– А я что сказал?

Математичка бесится. Лепит двоечку.

После математики химия. Кабинет, по каким-то там правилам, проветривается, все стоят у подоконника, смотрят на собачьи игрища. Как видно из титров, кобель прилип, письку не вытащить, сей факт крайне интересен юным натуралистам. Все улюлюкают и лыбятся. Химичка обнимает классный журнал, тихо, но настойчиво зовет в класс. Никто не реагирует. Все повернуты к ней спиной, делают вид, что это в порядке вещей. Химичка тихо бесится. Предложение свое повторяет. Результат все тот же. Минут через пятнадцать, когда уже и коту понятно, что урок сорван, у химички истерика, и по коридору слышны гулкие шаги Барвена, измученный кобель падает, сучка дергается: жучка за внучку – вытянули репку.

– Ого-го! – всеобщее одобрительное. Барвен багровеет и что-то орет. Химичка в обмороке, а в классном журнале «перпендир» тридцати двух двоек.

Дальше биология. Полученные знания идут в дело, скрещиваете кроликов белых с черными – получаете зайчат фиолетовых. Красивыми зелено-прозрачными становятся листья комнатных растений в лучах солнца. Играешь ресницами, расщепляя солнечный свет по спектру. У биологички блузка облегающая, джинсы подчеркивающие – все парни отказываются выходить к доске. Не спасают даже просторные джинсы.

Физика – кабинет темный, сумрачно и холодно. Рядом в полной темноте ползают странные твари, кожа их теплая, бьется вместе с кровью внутри жизнь, они проскальзывают в каких-то миллиметрах от меня, я чувствую лишь движение воздуха. Нестерпимо хочется дотронуться до них, поймать, и вместе с тем при одной лишь мысли появляется панический страх.

– Дмитрий Андреев! Не спать!

Никто и не спит, я только сижу, закрыв глаза, а рядом, в миллиметрах от меня – одноклассницы. А у училки торчат соски, точно!

На пятом уроке поем еврейскую песенку, выстроившись каждый у своей парты, «Авени шалом алейхем, авени шалом алейхем, шалом, шалом, шалом алейхем», на радость учителю по русскому и литературе Анатолию Соломоновичу. У него гноятся глаза, и непослушные еврейские кудри торчат во все стороны, учебник литературы замещен Библией, как же иначе, нет иной Книги.

В свое время я ходил к нему на факультативные занятия по субботам. Вместо правил русского языка мы учили псалмы. Однажды к нам на урок пришли баптисты, и я, как наибо-

лее способный ученик, должен был задать вопрос. Я не растерялся и, поднявшись со стула, в искренней озабоченности спросил:

– Вы ведь не станете отрицать, что инопланетяне существуют? – было преддверием моего вопроса.

Мне закивали немного недоуменно.

– И Бог создал нас и их по образу и подобию Своему?

Мне опять кивнули.

– Тогда объясните, почему мы так не похожи?!

Баптисты так и не нашли, что мне ответить, но подарили книжку Кристины Рой. Мой вопрос был признан лучшим.

Шестым уроком у нас физра. Бежим по вытаявшим собачьим следам два километра на время. Проклинаю все: и себя, и прокуренные легкие. Отхаркиваю слизь с прожилками темной крови. Я прихожу третьим, но на финише поскальзываюсь и падаю в грязь.

Я заскочил домой, только чтобы бросить сумку с тетрадами. Затем тут же помчался к Дане. Так было заранее оговорено.

– Куда пойдем?

– Давай просто погуляем...

Гуляем.

– Дима, расскажи мне что-нибудь...

– Что?

– Что-нибудь...

– Сказку?

– Быть может, и сказку...

– Как дед насрал в коляску?

– Дурак!

Я смеюсь, но все равно начинаю рассказывать. Про свое детство. Про то, как проснулся от солнца. Очень давно, много лет назад. Проснулся лишь по одной причине, мне хотелось проснуться... Может быть, меня разбудила своим мурлыканьем кошка, та самая кошка, с мордочкой мартышки и кривым хвостом, что совсем недавно котенком лакала молоко под моей ладонью, приседая от ласки. А теперь щурится от солнца, разрывающего грезы и сны на светлые кусочки дня. Я маленький мальчик. Меня зовут Дима. Здравствуй, день.

На лице моей бабушки не счесть морщин. Не счесть лет прожитых. Шлепаю босиком из спальни наперегонки с кошкой на запах готовящегося завтрака.

– Бабуль, с добрым утром! – хватаю за руку, теплую, мягкую, целую подставленную щеку. Бурлит, грохочет крышкой кастрюлька, стреляет масло на сковородке. В окне в зеленых липах прыгают с ветки на ветку и щебечут воробьи. Гуляют по подоконнику голуби.

Вдруг становится грустно. Я забираюсь с ногами на стул и смотрю с мольбой.

– Чего ты, Дима?

Губы дрожат, шмыгаю носом.

Бабушка ставит передо мною чай. Размешивает сахар, и ложка звенит словно маленький колокольчик. Окна выходят на площадь. В утренних лучах она пустынна и спокойна. Лишь подобно китам фыркают неповоротливые «икаруссы», распахивая двери на остановке, впуская внутрь сонных и растрепанных пассажиров.

В спальне в поисках носка заглядываю под кровать. Выскивая шорты, смотрю под стулом. Майка на зеркале. Кепка на цветке. Гляжу в окно. Птицы в небе. Канализационные люки и крыши гаражей внизу. Дикая котятка играет с тенями и своими хвостами. Я с тоской смотрю на все это. А солнце все выше, и мысли светлее. Внизу под окнами ждет меня мама.

– Дана, как хочется не взростеть, быть этим маленьким мальчиком.

– Да, в детстве я любила лазать по деревьям и драться с пацанами, мои коленки всегда были изодраны, локти тоже. Помню, как всегда хотелось содрать застывшую корку с раны, сдирала, пила свою кровь. Или наемся зеленых яблок и потом неделями...

– Я не совсем об этом...

– А о чем?

– Я о том, как чувствовала тогда жизнь. Я о том, как хотелось просыпаться утром, и о том, как не хотелось засыпать. Как каждый день был, что ли, совершенно законченным, весь в себе. Каждое утро просыпался в новом удивительном и теплом мире...

– Мы всегда приписываем детству многое, чего не было.

Мы целуемся. Но при этом мне не отделаться от ощущения, что одновременно меня накрывает светом того самого дня из моего детства, когда я сбежал по лестнице, вылетел из подъезда и обнял маму. Реальное воспоминание или мои фантазии? Не знаю, но иногда мне кажется, что Дана похожа – впрочем, едва заметно – на мою маму. Возможно, я по данному пункту двинутый.

Я вжимаюсь в Дану. Нащупываю ее грудь и прямо через одежду впиваюсь в нее зубами. Чувствую вкус молока. Орущий до посинения ребенок во мне замолкает. По венам тепло. В груди счастье.

– Мама, я люблю тебя!

– Что?!

– Дана, я люблю тебя!

Я точно двинутый. Точно что-то там по Фрейду!

Я как-то странно гулял с Даной. Все больше по каким-то подворотням. Прогуливаться с ней на Манто мне было тяжело. Все норовил выдернуть из ее руки свою руку. Мне кажется, что я не хотел, чтобы нас видели вместе. Почему, я сам не знаю.

Когда уже темнело, провожал ее до подъезда, и там мы целовались. Жевались. Сладостно. Теряя ощущения времени и пространства. Когда приходил в себя, я был уже почти у собственного дома. Веют сквозняки, моя ширинка неизменно расстегнута.

Нет, я уверен, что я был счастливым ребенком. Мне помнится, несмотря ни на что, чувство нежности, теперь превратившееся в уксусную кислоту: пью маленькими глотками – морщусь вначале, потом выворачивает наизнанку.

Фотография: мама и папа молодые, целуются на балконе, на линии горизонта, прически у них странные, советские, но у отца уже видна пусть маленькая, но проплешина, мама закрыла глаза, фотограф, быть может, тоже выпивший, смеется и улюлюкает, а им на все посрать.

Разглядывая свои голые ноги в 2:34 ночи, я поражаюсь, насколько мы с отцом все же похожи.

Ноги кривые, тонкие, волосатые. Такие ноги любят женщины. Мать смеялась нам вдогонку, находя сходство в наших походках и в том, как не заправлены сзади рубашки.

Отец, часто отправляясь по рюмочным, не противясь моему присутствию рядом, говорил, быть может, чересчур громко, чтоб девушкам, идущим впереди, обязательно что-нибудь да слышалось:

– Как тебе эти ножки, сын?

– Ничего! – отвечал я, довольный.

– А по-моему, немного угловаты.

Его оценки смягчались на обратном пути. Раскрасневшийся жизнерадостный отец цеплял женщин, что за тридцать, говорил:

– Привет. Как дела, милая?

Они отвечали:

– Замечательно, милый, – улыбались и отыскивали для меня конфеты.

Я спрашивал:

– Ты знаешь их?

– Нет, – отвечал и, довольный, шел дальше.

Мы дарили маме макароны и по-партизански переглядывались.

После, взрослея, с друзьями и в одиночестве, я улыбался девушкам, говорил в юной нетрезвости:

– Как дела, милая?

Не отвечали. Шли, виляя незрелыми бедрами на костлявых ногах. Сказочно.

А на других фотографиях утро. Мать курит. На моей спине спит сиамская кошка. Отца нет. Он просто за кадром. Он фотографирует. Да-да, вот его тень, падающая от солнечного света в спину, тень на моей кровати, прикасающаяся к вылезшей из-под одеяла голой пятке.

Отец должен вернуться через две недели. Жду. Жду жвачек и сникерсов. Перебираю фотографии. Наверное, скучаю.

6

Так совпало, что в пятницу класс решил провести «Огонек». Это не собрание пионеров и не обсуждение того или иного комсомольца. «Огонек» – это когда весь класс собирается и с позволения школьных властей, закрывающих на это глаза, и под присмотром классушки дружно напивается. А затем танцы-шманцы и долгие разговоры с толчком в обнимку, что поделать, организм еще молодой и неприученный.

В нашем классе тридцать два человека, после всех вычетов – ну там ботаны и кривые девицы – на «жибурелис» (это если по-литовски) является человек двадцать пять. Накрывается стол: пироги и пряники, груши, яблоки, бананы – для острых девичьих зубчиков. А под стол, по всем правилам, батарея бутылок: пиво, вино, водочка – все, как полагается. Но в последнее время пиво покупаем канистрами, поэтому пить пиво теперь целый ритуал – ведь скучно просто из стаканчика или бутылки – нужно прямо из канистры, глотая по семь-восемь глотков темного крепкого балтийского. Кстати, нет пива вкуснее литовского и девушек красивее прибалтийских. В этом все мы патриоты. Я притаскиваю из дома магнитофон, он у меня хоть и старенький, но фирменный, не то что там всякие китайские подделки Panasonic и Shanp, чистой воды Sony! Врубаем на самую мощь басы, чтоб дрожали стекла. Все вытаскивают свои кассеты. И начинается битва вкусов и предпочтений. Металл соседствует с рэпом, Буланова с Виктором Цоем, «Мальчишник» с Кобзоном, в общем, все пляшут и морщатся попеременно. Морщатся вначале и от музыки, и от алкоголя, затем только от музыки, после вовсе не морщатся, отплясывают на столах.

Есть один фантик, так он, как упьется, начинает кривить лицо и дрыгать руками и ногами, как Майкл Джексон. Ладно, в классе, но он умудрялся локтями крутить на площадках, где весь город собирается, выглядит все это – обхохочешься, но его при этом хлопаешь по плечу, предвещаешь великое будущее, он скромненько опускает глаза, а сам изнутри сияет. Выключаем свет в классе, смотрим, как его кожа в темноте серебрится, фосфоресцирует.

Естественно, я держался рядом с Даной. Подливал ей вина, сам не отставал – запивал водку пивом. То и дело в класс заглядывала классная Ирена Йоновна. Делая вид, что мы совсем не пьяные, мы предлагали ей лимонад с печеньем. Она играла по правилам, пила лимонад не морщась, закусывала колбасой.

Через некоторое время все чаще выключался свет, заиграли медляки. Я утаскивал в темноту Дану, с каждым па (топтанье на месте с ноги на ногу) прижимался все ближе, вскоре чувствовал каждый изгиб ее тела: грудь, живот, бедра. Мы были порядочно выпившие, начали целоваться. Меня не стало. Я куда-то провалился. В чувство меня привел прямой удар в нос.

Я теряю равновесие. Падаю. Кто-то визжит в темноте. Включается свет.

Батизад стоит надо мной.

– Тварь, я тебя предупреждал. Держись от нее подальше.

– Пошел в жопу, урод!

Удар ногой в голову. Вспышка – по воздуху очень медленно летят кровавые пузыри. Падают на пол – лопаются.

Меня поднимают. Батизада скручивают, и под дружное улюлюканье все вместе идем по пустым и темным коридорам школы, спускаемся по лестнице, выбиваем дверь, выходим на футбольное поле. Как и были, в тонких потных рубашечках, под мокрый снег.

Батизад скалитесь:

– Тебе не жить, урод!

Я сплевываю кровь. Мне ни хрена не больно, и страха нет. Под боком Айвары: Большой и Маленький – если что, его запинают. На остальное – мне поспать.

Батизад крупнее меня, видны бугры бицепсов. Максимум, на что я могу рассчитывать, успеть разбить ему глаз, если не мешкать и бить сразу.

Поэтому не размышляю, как только меня отпускают, лечу, словно мотылек на свет – напрямик на его нахальную ухмылку. Распрямяю зажатую в кулак руку и бью.

Глаз вылетает у него из глазницы и падает в талое собачье говно. Что-то вспыхивает. Батизад начинает искриться, из него летят пружины, в три секунды он разваливается на части. Кто-то подходит к нему, трогает ногой:

– Ребзя, это киборг!

Тут же я получаю ответный удар под дых. Не время фантазиям. От моего удара Батизад только дернулся и еще больше оскалился.

– Ну что щенок, хочешь драки! Ее получишь!

Дальше неинтересно...

Когда меня привели в чувство, я, постанывая, поднимаясь из лужи, весь грязный, только и нашел что сказать:

– Чуваки, надо бухнуть.

В тот вечер мы пьянствовали в каком-то подъезде с Витюхой и Айварами, а потом еще поиграли в баскетбол.

А Дана? Наверное, домой ушла, не помню...

На следующий день ужасно болела голова, нос был заклеен пластырем, под глазами фонари. За окном солнце. Его лучи грели лицо.

Я лежал и рассматривал трещину на потолке. Какой все это будет иметь смысл, если, к примеру, эта трещинка вдруг зазмеится, разрастаясь, и толстый пласт штукатурки обрушится на меня и погребет под собой, поднимая клубы пыли и белил...

От таких мыслей я сполз с кровати, переполз на кресло, но не удержался и вновь поднял голову, увидел, как меняет свое направление змейка трещины, тянется ко мне. Поморщившись, выполз из моей комнаты, дополз до ванной. И только сполоснув лицо, немного пришел в себя. Похмельный психоз.

Я поднял взгляд. Отшатнулся, но потом все же узнал себя в зеркале. Присмотрелся. Все не так и плохо. Изначально думалось, будет хуже. Да, нос вспух, пластырь – не знаю, кто его налепил – уже отклеивался. Нос был однозначно сломан: о том, чтобы дотронуться до него, не могло быть и речи. Я стал еще больше похож на обезьяну – черты, заложенные в меня

самой природой, получили неожиданное усиление. Фонарь под левым глазом светил интенсивным фиолетовым светом. Можно будет затушить каким-нибудь бабушкиным кремом. На лбу шишка. По всему телу синяки. Черт, он меня славно отметелил!

В остальном я был прекрасен. Раны только добавляли мужественности.

– Не достоин ты бандита, если морда не подбита, – заглянула в ванную бабуль. – Дима, что с тобой происходит?!

– А что такое? – удивился я.

– Ты был таким хорошим мальчиком, а сейчас пьешь, дерешься, скоро в дом еще и заразу какую принесешь!

– Какую такую заразу?

– СПИД!

– Бабуль, меньше смотри свой телевизор!

– Я передачу видела!

Бесполезно. Завелась. Нужно скорее из дома сваливать. Это надолго. Часами теперь будет промывать мозги.

Но бабуль вдруг замолчала и в тишине ушла на кухню. Поставила чайник. Налила мне крепкого чаю и со вздохом сказала:

– Звонил отец. Он через три дня приезжает.

Я застыл. По телу пробежала толпа радостных мурашек. Сердце екнуло.

Наконец-то! Супер! Батя возвращается. На восторгах я чмокнул бабуль в щеку.

Нет, конечно, я знал, что он вот-вот должен приехать. И ждал этого момента с нетерпением, но в последнее время из-за этих всех влюбленностей и волнений все прочно вылетело из головы.

Тут я подумал о Дане. «Стоп! А куда вчера делась Дана?!»

Звоню ей.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – голос Даны.

– Позовите, пожалуйста...

– Ее нет!

– Нет...

– Нет!

– Извините...

Полный бред. Вешаю трубку. Ничего не понимаю. Набираю номер еще раз. Поднимает трубку опять она:

– Алло!

Говорю:

– Привет.

Отвечает:

– Привет.

Продолжая ничего не понимать, спрашиваю:

– Как дела?

Отвечает:

– Хорошо.

Спрашиваю:

– Почему тебя дома нет?

Отвечает:

– Гуляю.

– Где?

Молчит.

Я понимаю, что весь этот разговор звучит крайне глупо, но делаю попытку придать ему хоть какой-то смысл:

– Давай погуляем вместе.

Молчит.

Молчу.

– Давай...

Она живет на Спортининку – параллельной Манто улице, берущей свое начало от футбольного поля клайпедского клуба «Жальгирис». Через пятнадцать секунд я с букетом цветов под ее окнами. Угадываю окно. Жду. Весь такой красивый, вот только то здесь, то там – пластырь. Памятник герою. У моего подножия крошат клювами асфальт воробьи. Ползают дурные от весны мухи – совсем скоро жужжать и блестеть зеленым брюхом, а пока разрешено немного поползать. А я без движения, как монумент!

Но вот слышно, как кто-то стучит каблучками по ступенькам, слух обострен как-то странно, слышно только это, остальное приглушено-призрачно. Памятник покрывается трещинами. Рушится.

Распахнулась дверь подъезда, выбежала какая-то малолетка с собакой. Собака тут же прилипла задницей к газону.

Даны все нет.

Когда воробьи и мухи растаскали все обломки, от меня остался только жалкий юноша, которого плющило от похмелья и страха, что она не придет.

Паром медленно полз по Данге мимо пришвартованных к высокой каменной набережной катеров и слепых заборов рыбпорта. Из-за заборов были видны громадины портовых кранов – как неотъемлемая часть горизонта портовых городов, они чем-то похожи на аистов. С выходом в длинный узкий клюв Куршского залива стали видны и корабли: большие и маленькие рыболовные суда, танкеры, военные крейсера: что-то – иностранное, что-то – ржавое и неприглядное, оставшееся в наследство от советских времен. В воздухе ловлю своим теперь увеличенным носом морскую соль, запах рыбы, дым переработанного топлива. Глаза хватают чаек. Одного батона едва ли хватит для их прожорливых криков. Особое удовольствие с криком: «Смотри – моя поймала!» – швырять мякоть, как можно выше, насаживая тем самым прямо на глупый клюв. На губах все та же соль, облизываю их сухую поверхность, хочу поцеловать бледную шею глупой чайки.

Мы стоим у правого борта. Рядом, не прикасаясь. Даже не разговаривая.

– Да черт! Объясни наконец, что случилось?!

– Ты вел себя вчера ужасно...

И опять молчим.

– Дануте...

– Что?

– Да ну тебя!

Некоторое время – три раза бьется волна о борт – размышляет, но наконец улыбается.

Куршская коса – это «удивительный природный комплекс». А еще сосны, песчаные дюны, шум волн, рвущий одежду ветер, в несколько секунд тебя наполняет все это, и ты не в силах продохнуть, да вот трещит под ногой шишка, и ты возвращаешься в тело. Но на протяжении всего времени, что ты тут, трепещут в благоговении крылышки носа, ты боишься слово произнести, чтоб только не нарушить незримо царящее здесь спокойствие, прячешься за пригорками, только чтоб не смазать своим присутствием взрывающуюся здесь красоту.

Впрочем, не для этого я сегодня здесь.

Мы сошли на берег. Купили сладкой кукурузы и гренок. Ушли на это все оставшиеся после вчерашнего сабантуя деньги, но кто в этом сознается. По тропинке здоровья (метров сорок по лесу мимо турникетов и проворачивающихся под ногами бревен) мы отправились к морю. В лесу еще не сошел снег, но солнце грело, на пляже было холодно от пронизывающего холодного ветра. Ветер гнал волны.

– Мне холодно.

Это знак.

Мы спрятались в дюнах. Лишившись силы ветра, солнце грело плечи. Прикосновения становились все более настойчивыми. Задергались пальцы в застежках лифчика.

– Стой. Не надо...

Но кто, скажите, на это клюнет?

Ко мне в ладони прыгнула ее грудь.

В следующий момент я получил коленом в пах.

Странно. Не было этого раньше. Был стеснителен. При одном прикосновении покрывался красными пятнами, стыдливо опускал ресницы, длинные, как у мамы. Потом началось. Проснулся интерес к теме. Нашел у отца журнальчик с совершенно голыми людьми. У мужчин вместо писек между ног поднимались подосиновики. Потащил журнал Валерке, он на пять лет старше! Валерка ничего объяснять не стал, сделал кучу фотографий, стал всем продавать. Я же получил по ушам от отца, когда зачем-то во всем признался.

И теперь опять собачья дилемма. Все понимаю, но сделать ничего не могу.

И каждый из моих товарищей ее решает, как может.

К примеру, Мишка, Лешка, Сашка – скинулись, пошли к проститутке. У них там чего-то не заладилось, что-то не получилось, хотя, казалось бы, что там может не получиться? Отмалчиваются, все отрицают.

Женька, тоже одноклассник, потащил толстую Катю на дачу, но она ни в какую, подавай ей резинку!

– Стирку, что ли?

Заржала хрипло.

Потом до него дошло. Запасся до конца жизни, сидит, ждет. Курит. Она опаздывает. Он курит. Выкурил от волнения пачку. В итоге, когда она все же пришла, он был настолько расслаблен, что ни уговоры, ни действия не возымели результата.

Все, конечно, здорово, но где тут любовь? Где смысл? Я хотел для себя иного.

– Все в задницу!

Она не звонила. Я из упрямства сидел в полной темноте, не зажигая свет, ждал. Не дождался. Решил лечь спать. Не мог заснуть. В итоге не выдержал, сломался.

Позвонил. Ночь. Услышав ее сонный голос, я вне себя от счастья.

– Алло...

– Привет, это я...

– Чего тебе надо?

– Я хочу сказать, что люблю тебя.

– Придурок.

И правда. Вешаю трубку.

7

Сегодня. Он должен был приехать сегодня.

Я сидел и вспоминал, как ждал маленьким мальчиком его возвращения, боялся его усов и радовался подаркам. Как у каких-то проходных мы с матерью ждали, мечась от одного человека к другому, с одним вопросом:

– Когда их выпустят?

А я:

– Мама, где же папа?

Над головой нависали жирафы портовых кранов, черное небо и слепящий свет белых прожекторов.

Прижимаясь к нему изо всех сил, повисаю на шее, смеюсь, мне радостно и щекотно от колючей щетины.

– Папа, ты привез жвачки?

– Хоть жопой жуй, сынок.

Я свалил с третьего урока. Все по правилам, отпросился у классухи, мол, приезжает отец, надо встречать. Поехали вместе с бабуль в аэропорт в Палангу.

Если уменьшить масштаб до высоты птичьего полета, Клайпеда и Паланга покажутся грязной пеной на кромке большой лужи. Высота полета чайки по имени Джонатан Ливингстон.

Но не в этом суть.

Расстояние между городами небольшое. Легко добраться до Паланги автостопом. Пару раз так ездили. Разбивались на пары. Однажды ехал так с Нерингой, подружкой товарища, который был в другой паре. Так почему-то получилось. Она ни бе ни ме по-русски, я – ни бе ни ме по-литовски. Но все равно сладили. И поцелуй я ей все же влепил. Стояли под дождем, и не одна сволочь не останавливалась.

Бабуль, пользуясь случаем, сидела у меня на ушах. Я проклял все на свете, хотел выйти из автобуса и добираться своим ходом. Но мы уже опаздывали, самолет вот-вот должен был приземлиться. Еще я поел в школьной столовке сосисок и меня мутило. Не слушал бабуль совершенно. В себя вслушивался: доеду – не доеду, сблую – не сблую. Не доехал.

– Тебе плохо? – озадаченно прервала свой монолог бабушка. Я размазал куски сосисок ботинком и ответил:

– Мне хорошо.

В результате произошло чудо, она замолчала.

Смотрел в окно на аккуратные домики и поля. Над ними кружили черные птицы.

Самолет задержали на два часа. Я нервничал. Я никогда в жизни не летал. Боялся. К тому же, что говорить, если меня даже в автобусе укачивало. А в детстве еще хотел стать космонавтом...

Наконец объявили прибытие.

Скоро появился и он. Весь увешен сумками. Темнолицый, с сияющими глазами, отыскивающими нас в толпе, усатый и живой.

Заметив нас, замахал руками и, отпихивая всех, расталкивая сумками, не обращая внимания на возмущенные какие-то там возгласы, устремился к нам. Я ринулся к нему. И был уже готов обнять его, как он обогнул меня, оставил за своей спиной.

Он обнял бабуль и спросил:

– А где сын?

– Так вот же он, – ткнула в меня пальцем.

Он обернулся и недоуменно посмотрел на меня:

– Как это?..

Наконец узнал.

– Оба-на! Во как вымахал! Я ведь помню тебя на голову ниже, без этого пушка под носом, да, кстати, что у тебя с носом?

Тут включила громкость бабуль:

– Он ведет себя ужасно. Пьет! Курит! Ночами где-то пропадает.

На что отец засмеялся и сказал:

– Мой сын!

Дома первым делом отец сбрил усы и заставил побриться меня.

У отца традиция: уходя в море отпускать усы, на берегу бриться до синевы кожи.

– Всякая растительность на лице неприятна барышням при поцелуях, запомни, сын!

Дальше он поел и лег спать. Мне же дал пятьдесят долларов и сказал, чтобы к вечеру они были истрачены. Нет проблем!

Отец приехал. Супер!

Хоть яйца еще болели, первым делом я позвонил Дануте. Память влюбленного коротка, но в ответ только длинные телефонные гудки и бесконечное ожидание. Вот сейчас, да, в следующее мгновение, я услышу ее голос. Боже! Нет на свете ничего лучше! Конец мучениям, пусть будет все как и прежде.

Вдруг:

– Урод, что ты мне названиваешь?

Съел. Глаза заслезились, виляющий от радости хвост – поджал, заскулил, зажав в руке доллары США, вышел во двор...

Вспомнил, что у меня есть дружбан, он живет здесь рядышком. Неплохо было бы к нему зайти. Хоть он и не пьет, так хоть выслушает. Андрюха, человек с печальными глазами, только ты сможешь меня теперь спасти!

По лестнице и лестничным площадкам были разбросаны цветы и еловые ветки. Пахло тягуче, то ли Новым годом, то ли похоронами. Я поднялся на третий этаж, начал барабанить ногой в дверь. Без скрипа дверь открылась. В воздухе в призрачной темноте я увидел бледное изможденное лицо.

– Привет, Андрюха! У меня батя приехал, денег дал! Идем бухать.

Я потащил его по лестнице вниз, в притворном воодушевлении, скрывая вселенское свое горе. Скоро вывалю его на тебя, Андрюха, ты уж извини...

Я, не давая ему сказать слова, говорил и говорил, рассказывая о том, как приехал отец, как мы его встречали, как он меня не узнал, как...

– Смотри... Не, дай руку! Чувствуешь, как гладко! Да, да! Я побрился!

Мы шли по Манто. Было тепло и влажно. В воздухе парило, очертания ближайших предметов становились расплывчатыми. Далеких – четче. Фонари цвели электрическими лучистыми одуванчиками. Мы завалились в «Пингвин»!

Кафе «Пингвин»: при советской власти здесь только и можно было, что поклевать ванильного мороженого из алюминиевых вазочек, при новых же реалиях – пиво, водка, абсент, стриптизерши на барной стойке, плюс весь комплекс всевозможных развлечений, только бабки плати.

Сели за столик в глубине зала. Было шумно и накурено. Официантку было не дозваться, а я, чувствуя невероятную уверенность от присутствия зеленой банкноты в кошельке, все вскакивал и вопил:

– Девушка! Мать-перемать! Нам водки!

На мое удивление, Андрей сам наполнил себе рюмку и, не глядя на меня, по-прежнему опустив взгляд вниз, выпил.

– Во! Это я понимаю! – завопил я. Невероятно обрадовавшись, что Андрюха забухал.

Быстренько наполнил вновь рюмки и чокнулся с Андрюхой, пристально наблюдая за его движениями. Опять в точности повторилось все то же самое. Он, даже не поморщившись, выпил еще один стопарь.

Я закурил, очень довольный происходящим. Он, словно в точности повторяя каждое мое движение, взял сигарету и закурил. Закашлялся, при этом наконец поднял взгляд, виновато улыбнулся...

– Ну как ты? Пришел в себя?

Он кивнул. Лицо его просветлело. Кожа заблестела от проступившего пьяного пота. Я разлил по стопкам еще. Он опять выпил.

Мы славно набухались в «Пигвинасе». Чуть не зацепили каких-то мергалок. Ногастые, сиськастые. На лицо – лошади. То, что надо! Но моих пятидесяти долларов не хватило бы даже на один-единственный поцелуй.

Шли домой с Андрюхой, обнявшись, я то пел песни, то грузил Андрюху рассказами о Дане.

– Понимаешь, Андрюха, бабы – они есть бабы. Ну что им в жизни нужно? Ясно дело, лифчики и помадки. Другое дело – настоящая мужская дружба! Андрюха, ты мой лучший друг. Я люблю тебя больше всех!

Я крепко обнял его.

Тут произошло нечто незапланированное: Андрюха тоже обнял меня и начал меня целовать, судорожно и нежно прикасаясь губами к моим губам. Я не сразу врубился, что происходит. Слезы потекли по его щекам.

Я отпихнул его. Вмиг протрезвев.

– Ты что, совсем?!

Он дернулся. Весь сжался. Взгляд его опять упал на асфальт. Все так же молча он развернулся и побрел по направлению к своему подъезду. Я ошарашенно смотрел ему вслед, на его сгорбленную спину.

На следующее утро я узнал, что еловые ветки на лестничных пролетах в подъезде были не случайны. В тот день хоронили Андрюхиного отца. Он умер в сорок шесть лет, хрен знает, от чего.

Я все больше и больше запутывался. Что происходит с этим миром? Почему так странно ведут себя люди. Андрюха голубит в день похорон отца. Лучше бы как-то по-другому сублимировал. Стихи бы писал, что ли. Дана посылает меня раз за разом как по телефону, так и в школе, трется о руку Батизада, словно кошка, а он криво издевательски лыбится. Отец вернулся, но только и знает, что совать мне деньги, а сам где-то шляется и кутит, меня вообще не замечает.

– Да пошли вы все в жопу! Уроды!

Весна бродила во мне, лишая покоя, рассудка и сна. У меня началось помешательство. Зеленый свет сочился по венам. И я не мог себе позволить напялить на себя узкие джинсы.

Ходил в одиночестве, пялился на задницы и думал об этом весеннем уродстве, всеми называемом обострением.

Но знал, что рано или поздно это все закончится.

8

Я закатил истерику прямо на перемене. Я вцепился ей в руку и не отпускал. Я рыдал. Молил ее вернуться. Она кривила лицо. Брезгливо отнимала руку. Вовремя подоспел Батизад, впечатал мне кулак в лицо и пару раз пнул. Рассек мне кожу на подбородке. Айваров –

Большого и Маленького – отпустили с уроков, они возили меня в больницу, накладывать швы. Ржали надо мной. А я был неразговорчив, но уже пришел в себя.

Естественно, после больницы мы нажрались в «Мелодии».

Я вернулся в тот день домой часов в одиннадцать. Протрезвевший, хмурый, измученный мыслями о Дане. Отец опять устроил дома глобальную попойку. Веселье было в самом разгаре. Отцовские дружбаны с женами и любовницами сотрясали сервант своими танцами под Аллу Пугачеву.

– Сын, иди сюда!

Я подошел к отцу, он тут же подгреб меня к себе.

– Таня, знакомься – мой сын.

– Привет! – Таня показала свои зубы, которые влажно сверкнули в электрическом свете, и, пьяно горя щеками, нырнула в потный клубок танцующих.

– Как тебе? – подмигнул мне отец.

Я лишь нахмурился и, высвободившись из-под его руки, ушел в свою комнату. Задвинул щеколду... Не мог заснуть от шума за стеной. Мне было некуда спрятаться. Грудная клетка ныла от тоски. Я смотрел в потолок на отсветы проезжающих по двору машин. Стало невыносимо. Все порывался встать, одеться и уйти слоняться по улицам. Но я лежал и пытался не думать ни о чем. Хотелось женщину.

Когда умерла мама, почти сразу в доме стали появляться разные женщины. Они дарили мне заводных обезьянок. Обезьянки играли на скрипках и ударяли в жестяные блюда. Я садился на пол и заводил всех подаренных мне обезьянок. Их было много. Незнакомая тетя гладила меня по голове, я не реагировал, сидел хмурый и замкнутый. Знал точно, что и эта не задержится надолго. Они все пропадали, когда отец уходил в море.

Я рос. Однажды пришло знание, что женщины не просто так. Разрезая им животы, из них достают маленьких детей. Аисты тут ни при чем.

Я просыпался от странных звуков. Слышал, как кто-то, мучаясь, стонет. Отчетливо представлял вспоротые животы. Как окровавленными руками во внутренностях ковыряется мой отец, выискивая себе новых детей.

Однажды, желая прекратить это, я взял молоток и проломил головы всем подаренным мне обезьянкам.

Я открыл глаза. Мутное раннее утро наполняло небо отчетливым светом. Я прислушался, пытаясь понять, что меня разбудило. Было слышно, как похрапывает за стеной бабуль. В неосознанном беспокойстве я поднялся и, стараясь не шуметь, подошел к порогу своей комнаты и выглянул в коридор.

Дверь в комнату отца была приоткрыта.

Таня лежала на кровати совершенно голая. Она спала, но во сне происходило что-то, от чего ее тело горело в сладостной неге. Ее рука была зажата между ног. Отца не было. Я не в силах оторвать взгляд смотрел на ее грудь, живот, бедра. Волны жара накатывали на меня, меня покачивало, и все плыло перед глазами. Мне было страшно, мне было стыдно, я знал, что стоит ей открыть глаза, она увидит всего лишь жалкое костлявое подобие мужчины. Но вместе с тем мне было уже все равно. Мною владело желание. Чистое, животное, честное. Я подошел вплотную к кровати и стащил с себя трусы. Стоял и молча ждал. Таня, казалось, не просыпаясь, едва приоткрыв глаза, взяла мою руку и притянула к себе. Я будто провалился в раскаленную пропасть. Жарче самого знойного лета. Но вместо того, чтобы почувствовать восторг, что я наконец теряю девственность и становлюсь настоящим мужчиной, я боролся с готовым вырваться из груди обиженным криком новорожденного.

Часть II. Рассказы Андрея

Тики-тик

– Алиса, я заберу тебя поздно, – женщина нажала на кнопку первого этажа, и лифт пополз вниз. Девочка кивнула. Лифт, не доехав, остановился на седьмом этаже, и в него зашел еще не проснувшийся мужчина с коричневой собакой, невнятно поздоровался и словно заснул, женщине самой пришлось вновь нажимать на кнопку. Собака тянулась к Алисе своим носом. Было каждый раз немножко страшно, когда лифт, начиная движение вниз, как будто падал.

– Тики-тики-тики-тик, – Алиса слушала, как где-то стучит странный механизм.

Алиса рассматривала круглые носки своих новых туфель, которые мама принесла вечером. Мама, надевая вначале одну туфельку, потом вторую, хвалила их и радовалась, а Алиса тоже радовалась, но только не туфлям, а тому, как мама щекотно прикасается своими руками к ее ногам. Впрочем, туфли ей тоже нравились, она словно смотрела на них мамиными глазами.

Собака вывела своего хозяина из лифта. Мама уже нервничала от всех этих секундных промедлений, мужчина все не мог открыть дверь с магнитным замком, а нужно лишь сильнее надавить на кнопку, собака скреблась в нетерпении о стальной косяк, мама закипала и уже собиралась обрушиться на этого вялого, словно заблудившегося в тумане, человека, но дверь отрылась. Спрыгивая с одной ступеньки крыльца на другую, Алиса повторяла звук, который продолжал звучать где-то рядом:

– Тики-тики-тики-тик...

Мама торопилась, она шла быстрым шагом, и Алисе приходилось чуть ли не бежать следом. Небо блестело темнотой, но Алиса видела, как почти незаметно в черноту тонкой струйкой, как молоко в чашку маминого кофе, вливается утро. Небо совсем скоро посереет, обступит слабеющие фонари и погасит в один момент все разом.

Идти до садика недалеко, выйти из прямоугольного двора, пройти вдоль проезда мимо многоэтажки, дворник в этот момент выкатывает пластиковые контейнеры, под закрытыми крышками которых набирают силу вонючие и страшные существа. А дворник толкает их к поребрику, словно овец на выпас.

Алиса, не выпуская мамину руку, уже по ней скучала. Мама торопилась, мама думала о чем-то своем, а Алиса хотела развеяться от невыносимого отчаяния, что опять на весь этот бесконечный день она останется одна, и мамы не будет рядом, долго, очень долго. Но она знала, что плакать ни в коем случае нельзя, что мама начнет ругаться, трясти ее за плечи и говорить, чтобы она пришла в себя, она ведь не хочет, чтобы мама опоздала на работу. Алиса не хотела.

На асфальте блестели дождевые черви. Вначале Алиса думала, что это только трещинки, но они медленно ползли по тротуару. Алиса забыла обо всем. Она не понимала: они были противные и беззащитные, она боялась даже на них просто смотреть, но и не смотреть не могла, чтобы на них не наступить. Им будет больно, они начнут извиваться, и еще они пристанут к ее новым туфлям.

– Иди нормально, – одернула Алису мама. Словно вспыхнула, накалилась до красна. Сжала ее руку. Не понимая и не желая разбираться в причинах. Но Алиса не баловалась, она не могла себя вести по-другому. А мамины туфли давили червей.

В группе еще никого не было. Они, как обычно, пришли первыми. Мама стала переодевать Алису, но потом бросила.

– Я побегу, Алиса. Ты справишься сама?

Алиса кивнула, а внутри набухал горький ком, отчего все вокруг стало расплываться. Руки не слушались. Пальцы слабо боролись с пуговицами. Алиса снова погрузилась в одино-

кий и пустой мир. Дверцы шкафчиков плотно закрыты. Там томились оставленные другими детьми игрушки. Но и игрушки оставались всего лишь раскрашенной пластмассой. Все быстро остывало, а мама ушла ведь только что. Но пережить это как-то надо. Алиса выдохнула.

В группе застыли столы и маленькие стулья. Они пугали своей неподвижностью, своим порядком. Чтобы как-то сдвинуть воздух, которым и дышать уже было невозможно, Алиса ногой поддела ножку ближайшего стула, и он с грохотом упал на спинку. Устанавливая уже свой порядок, Алиса подняла его и придвинула на место, но все уже сразу стало по-иному. Как от костяшки домино, все вокруг осыпалось. Зашевелилось. Возникло чувство присутствия еще кого-то здесь. Это могла быть воспитательница. Она, скорее всего, велела идти и мыть руки. Но это могли быть и другие дети. Они разбредались по группе и сонно копошились по углам, настраивая день под свои собственные нужды.

Тики-тики-тики-тик.

В тарелке дымилась манка, в самом центре которой заточили немного варенья. Глупость – это смешать манку с вареньем, окрасив манку в чернильный цвет. Манка от этого не переставала быть сама собой. Становясь от этого лишь сладкой и еще более отвратительной. Алиса не собиралась заниматься такими глупостями. Алисе вновь предстояло спасти варенье. Ложка двигалась по кругу, закручивая спираль, манка впитывалась в зубы и нёбо. Алису то и дело передергивало, заветное варенье становилось все ближе. Но, когда, казалось бы, ложка подобралась совсем близко к варенью, как райскому острову, стало вдруг уже слишком поздно. Манка переполнила Алису, словно котелок из сказки – горшочек, вари, – и с ревом будто бы горная река сорвалась потоком на пол. К Алисе тут же подступили тени. Они стали укорять Алису в чем-то и обещать ей наказание, они неодобрительно цокали языками, они показывали на Алису пальцами и говорили: «Алиса, что тут натворила, гадина». Все это было в мутном тумане, что-то прикасалось к Алисе, сжимало плечо и трясло, но Алиса не могла понять, что это. Не видела.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса стояла у окна. На стекле капли соединялись с каплями, росли и устремлялись вниз. Пустой двор придавило низким небом. Блестели жестяные горки, по поручням качелей бежали струйки воды. Туфли быстро промокли, занемели пальцы на ногах, и холод пробрался внутрь, ближе к сердцу. Маму можно ждать здесь. Думать о маме. И верить в чудо. Что вдруг окажется так: калитка вдалеке скрипнет, и к Алисе, улыбаясь и радуясь собственному сюрпризу, быстрым и легким шагом, не в силах унять нетерпение, почти побежит мама. Обнимет. Возьмет на руки и понесет, что-то спрашивая, пусть что-то пустое и неважное. Тепло и радостно.

Стекло морщилось. Заиграла музыка. Что-то толкнуло Алису. Развернуло. Поставило в пару. Кто-то играл на пианино. Послушные ритму колени подлетали кверху, голова закружилась от мелькающих по кругу вещей, мебели, окон. Рот открывался и закрывался, из него вылетали слова, которые Алиса не понимала, но которые выстраивались и сливались с другими словами, метались под потолком и наполняли музыкальную комнату. Алиса не могла понять, что это и зачем с нею это происходит. Но нужно быть послушной. Подчиняться всему этому заученному. Танцевать, не разбирая музыки, двигать руками и ногами, повторять раз за разом, так, как вчера, так, как завтра. Такие правила этого места. А правила нужно просто выучить. И научиться жить по правилам.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса лежала в кровати, между простыней и одеялом, которые не давали ей согреться. Они словно забирали все ее тепло. Она свернулась, поджав колени к груди, обхватив себя руками. По стене бежала трещина. Она смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Трещина вначале была совсем тонкая, но скоро стала расширяться и ветвиться, лопалась краска, и осыпалась штукатурка, из-под которой, перебирая быстро множеством своих ног, разбежались мокрицы, но ноги их путались между собой, мокрицы спотыкались и падали, и трещина

настигала их и засасывала в себя. Алиса боялась мокриц, но совсем скоро стены затряслись, и кровать начала соскальзывать в трещину. А Алиса не могла пошевелиться, в ней не осталось больше тепла, вместо него внутри тлел только прозрачный лед. По коже расходились ледяные узоры, между пальцами нарастали ледяные иглы. Алиса протянула руку и заморозила трещину. Не надо больше бояться. Все забирает с собою холод. Сердце больше не бьется. Слезы уже не текут. Они отрываются от ресниц и поднимаются вверх. И они уже снег.

– Ты спишь? – Алиса услышала шепот с соседней кровати.

– Нет, – прошептала в ответ.

– И я нет.

Кто-то дотянулся до ее одеяла и что-то положил на него. Алиса по-прежнему не могла пошевелиться, но почувствовала, что это быстро разогревает воздух, и уже скоро и одеяло словно июльское пекло.

– Что это? – спросила тихо Алиса.

– Это тебе, – ответил кто-то, – конфета. Шоколадная.

Алиса осторожно повернулась. Задремезжала под тонким матрасом сетка. Алиса замерла. Кто-то на соседней кровати тоже застыл. Но тщетно. В спальню ворвался шар ярости, словно только этого и ждал, сорвал одеяла, зашипел. Быстро всем спать! Быстро! Спать! Спать!

Вокруг только лед.

Тики-тики-тики-тик.

Группа постепенно пустела. Детей забирали одного за другим. За окном темнело, в свете уличных фонарей дождь висел в воздухе водной пылью, только с края, как с носа размякшего пьяницы, время от времени капала, вспыхивая, вода. Алиса рисовала, сидя за столом, подбирая карандаши ярких цветов, желтый цвет, зеленый, красный, синий только что сломался. Алиса рисовала странный дом, он стоял в лесу, в окружении высоких сосен, темных внизу и разгорающихся ярко оранжевым выше. Солнечные лучи обрушивались на зеленые высокие кроны и, словно вода через решето, устремлялись дальше. Солнце скатывалось с красной жестяной крыши и зависало на водостоке. На окне сидела кошка. А в воздухе летали огромные комары. В доме кто-то жил. Алиса не знала кто. Но ей казалось, что это тот, кто приносит и дарит конфеты.

– А здесь еще песочница, а здесь стрижи, – подсказал кто-то, тыкнув пальцем, – здесь и здесь.

И Алиса старательно рисовала. Алиса слышала, как они вскрикивают высоко в небе.

– Мне пора, за мной пришли, – кто-то пожал ее руку и побежал, повис на длинной шее, восторженно стал сыпать разными вопросами в чьи-то большие уши.

– Ты придешь завтра? – крикнула вдогонку Алиса.

Еще один карандаш сломался. Цвета на рисунке поблекли. Дом в лесу поглотила тень.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса в оцепенении сидела и ждала, глядя, как сквозь ее отражение на стекле застывает в темноте день. Этот день был одним из бесконечной череды дней. Он длился тысячу лет. Алиса росла. Медленно прокручивалось большое зубчатое колесо. Многоэтажки торчали его зубьями. Оно крутилось по линии горизонта. К нему крепилось колесико гораздо меньшего размера. Но именно оно приводило его в движение. Тики-тики-тики-тик. Алиса приложила ладонь к груди. Тики-тики-тики-тик. Да, здесь.

Воспитательница ходила туда-сюда и нетерпеливо двигала стулья и столы. Сгребала игрушки. То и дело, поглядывая на часы, в раздражении бурча что-то себе под нос. Алиса смотрела на двор детского сада, ей казалось, что вот-вот на дорожке появится фигура ее мамы. Она помашет Алисе рукой, показывая, чтобы она бежала одеваться. Алиса сорвется с места, кинется к своему шкафчику, конечно же, наденет колготки шиворот-навыворот. Мама, смеясь и уже никуда не торопясь, станет переодевать ее, касаясь холодными с улицы руками ее ступ-

ней. Они попрошаются с уставшей и вялой воспитательницей и пойдут домой. Алиса будет забегать вперед и становиться на канализационные люки, а мама будет отгадывать, какая там буква, выдумывая из головы уж совершенно что-то невероятное. У подъезда они встретят соседа с коричневой собакой. Он будет уже спать. И опять придется ждать, пока он справится с магнитным ключом, они будут перешептываться, стараясь не шуметь, чтобы его нечаянно не разбудить. Собака лизнет Алисе руку. Алиса погладит ее по гладкой голове. Нос будет черным и мокрым, как этот вечер. Они зайдут в лифт. И день сомкнется сам на себе.

Тики-тики-тики-тик.

Аллергия на кошек

– Ты же говорил, что у тебя нет кошек, – она возмущенно вскинула нос, ее голову потянуло назад, и она чихнула.

Я, понимая, что все рушится, изображал на лице недоумение, но этот гаденыш вылез и оглушительно урчал мне в ухо.

– Это не кошка, это кот, – попытался оправдаться я.

– Да какая разница, – она пятилась к двери, – сейчас мне все лицо раздует, передавит горло, и я сдохну здесь.

– Мне очень жаль.

Мне и правда было жаль. Вика мне нравилась. Мы уже несколько раз вместе возвращались со школы. И сегодня я пригласил ее в гости. Она жила в соседнем дворе. Слушала меня и смеялась моим шуткам. И мне даже вдруг показалось, что она примет все мои странности, и мы сможем быть вместе. Но на это я только горько хмыкнул. Я знал, что этому не бывать. Никогда.

Вика ушла, но я все стоял в прихожей и в оцепенении смотрел на закрытую дверь.

Марцелас мурчал все настойчивее. Этот негодяй опять хотел есть. Понуро я поплелся на кухню и достал из холодильника кошачьи консервы. Родители уже давно смирились. Покупали их исправно. Но мне это дорогого стоило.

Марцелас стал меня покусывать. Я все пытался его хоть как-то урезонить. Но слова не помогали. Все это было бесполезно. Если он хочет есть, то меня вконец измучает, но своего добьется.

Я поставил на стол его тарелку. Открыл банку и вывалил все ее содержимое. Это было желе с говядиной и печенью. Сам я печенку терпеть не мог. Меня всего даже от одного запаха выворачивало. Но Марцелас ее обожал.

Кота уже трясло от нетерпения.

Тоскливо вздохнув, думая о Вике, я сел за стол и начал с урчанием есть.

Родители водили меня от одного специалиста к другому. Воспринимали меня по-разному. Кто-то прописывал мне таблетки, кто-то советовал лечить меня током. Другие рекомендовали, пока я совсем не слетел с катушек, пристроить меня в больницу. Родители упрямы или же не могли выбрать из множества вариантов наиболее для них приемлемый.

Это могло бы продолжаться вечно, но попалась одна усталая врачиха. Взяв меня за подбородок, она попросила открыть рот и заглянула внутрь:

– Кот там?

Я утвердительно замычал.

– Большой? – спросила с сомнением и в следующее мгновение хмуро продолжила: – Хм.

А да, вижу.

Потом она долго разговаривала с родителями, а я сидел в коридоре снаружи, играя с котом. Родители вышли от нее измученные, но успокоенные. И взглянули на меня со слабой надеждой.

Накормив кота, я вернулся в коридор за портфелем. Без настроения потащил его в комнату. Сел за стол и вытаскивал математику. Но Марцеласу было все не успокоиться, он то игрался со стеркой, то ловил кончик карандаша. Не в силах бороться с ним, я смотрел в окно на двор. Там, казалось, никого не было. Каменная скучная коробка. Асфальт. Канализационные люки. И что-то неясное в дальнем углу. Саня Сапог. Так и есть. Нос перебит, от этого и кличка. Жестокий и дикий переросток. Опять ловит голубей. Ставит пустой ящик из овощного ларька на палку, тянет от нее веревку. Только вот незадача, голубей в этом дворе уже нет. Всех перебил.

Сапога замечает Марцелас. Он смотрит на него пристально. Я чувствую, как нервно подрагивает его хвост. Быть может, он даже ничего и не помнит. Слишком он был мал тогда. Хотя я так не думаю. Будь Сапог размером с мышь, судьба бы его была предрешена, но даже и так, я слышал, что кошки во сне крадут дыхание, и люди уже не просыпаются никогда.

Мне было пять лет. Я боялся Сапога. Он чувствовал это. Огромный, вездесущий. Он мог вдруг появиться из-под земли, ударить кулаком под дых и, замороженно усмехаясь, смотреть, как я корчусь. Двор был наполнен постоянной угрозой. От него было не убежать и не спрятаться. Как только он появлялся, я застывал, не в силах пошевелиться, и уже словно со стороны наблюдал за тем, что должно было произойти дальше.

Иногда он выглядел дружелюбным. Он мог шуточно ударить кулаком по плечу, и пусть все так же больно, но все-таки терпимо. Тогда он показывал что-нибудь необычное. Это мог быть старинный рубль или черная монета с немецким крестом, иногда это была волосатая гусеница или плоская батарейка с лампочкой, загоравшейся, стоило только соединить контакты...

В тот раз это был котенок.

– Хочешь? – ласково улыбаясь, спросил он.

Я кивнул. И внутри весь сжался. Я готов был броситься к нему и умолять, ползать у него в ногах, лишь бы он не сделал этого. Но я знал, что ничего на него не подействует...

– Держи, – он взмахнул рукой и со всей силы швырнул его на асфальт.

Я опустился на колени и осторожно прикоснулся к переломанному телу, из которого с последними судорогами уходила жизнь. Я видел себя и маленького котенка, которого я взял на руки, прижал к груди и там спрятал. Поднявшись с земли, я посмотрел на Сапога и понял, что мне больше не страшно. Мир изменился. Я смотрел на него пристально. И от этого взгляда он почувствовал себя странно, он замахнулся на меня рукой, но, не добившись от меня привычной реакции, с неловким смешком почесал затылок. А потом, развернувшись, пошел прочь, не понимая, почему ему не по себе рядом со мною.

Быть может, я и не смог бы убить его тогда.

Котенок внутри затих. Я понес его домой. Не говоря ни слова, я прошел на кухню. Достал молоко из холодильника, поставил блюдце на пол.

Удивленные родители вскочили со своих мест.

– Что ты делаешь? – вскрикнула мама.

– Я кормлю котенка.

Я, стоя на корточках, лакал молоко из блюдца.

Сделав математику, я решил почитать. Но все не мог никак сосредоточиться. Сколько ни думал, все не мог понять, что со мною происходит. Было тревожно, что-то, словно подвешенная на нитке бумажка, не давало мне покоя. И вдруг я вскочил от вспыхнувшей в голове мысли:

– Аллергия!

Аллергия Вики – доказательство реальности Марцеласа.

Теперь мама и папа поверят мне. Я радостно начал плясать по комнате. Кот проснулся и недовольно поднял голову. А я подхватил его, стал вертеть, пока он не вырвался и не убежал от меня куда-то вглубь.

В этот момент раздался звонок в дверь.

Я, очнувшись от собственной радости и недоумевая, кто это может быть, пошел открывать, не забыв при этом навесить цепочку.

За дверью стояла Вика.

– Я выпила дома лекарство от аллергии. Ну что, показывай своего кота.

Беспамятство

Я стоял и уже не знал, зачем проделал весь этот путь. Пожухлая трава пробивалась через позеленевший мелкий гравий. В некоторых местах была видна ломкая от времени черная целлофановая пленка. Я взялся за длинные сухие стебли, потянул на себя, но тут же бросил, заметив, что рвется пленка, рассыпается гравий от разросшихся корней. У надгробия лежали потемневшие пластмассовые цветы. Кто их положил, для меня было загадкой, но во мне шевельнулась надежда, что кто-то все же ухаживает за могилой. Я стоял в ожидании, вслушиваясь в собственные ощущения, ждал, когда меня заполнит печаль или, еще лучше, горе. Но ничего, кроме холода и скуки, я не чувствовал.

Я приехал в родной город на автобусе ранним утром. Выехал с вечера в ночь, промаялся двенадцать часов в таком поначалу удобном и мягком кресле. В окне ничего особо было не разобрать, темнота и черные силуэты спящих деревень и пригородов. Фонари с желтыми головами, редкие встречные автобусы и автомобили. Я иногда проваливался в хрупкий сон, ко мне подступали тени, но колесо попадало в очередную яму, и, вздрогнув, я возвращался к скучному ожиданию. Все больше мне казалось, что это какая-то лишенная всякого смысла блажь, что не нужно было поддаваться этому.

Я протянул руку и притронулся к выбитым на камне буквам. Подушечками пальцев почувствовал тонкий склизкий слой плесени и мокрой грязи. Вытер руку о джинсы и, развернувшись, пошел в сторону ворот к автобусной остановке.

От кладбища до города ходил только один автобус. Номер семнадцать. Я помнил это. Но сейчас не был уверен, что за это время все осталось как раньше. Спустившись по мощеной булыжной мостовой, мимо продавщиц искусственных цветов, я вышел к прямоугольному зданию администрации.

Я заплачу им. Они все сделают. Приведут могилу в порядок. Будут смотреть за нею. И мне не нужно будет ездить. Отличное решение.

Я дернул дверь, заперто. Я в недоумении посмотрел на табличку с часами работы. Она была из отшлифованного черного мрамора и походила больше на надгробие. Сегодня был выходной.

От холода меня начало потряхивать. Я стоял на остановке, но автобуса все не было. Высокое серое небо. Застывшие черные сети деревьев с неподвижными воронами на ветках. Хрустальный ледяной мир. Я дрожал, дул на руки, но казалось, изо рта вырывается такое же холодное дыхание, как и воздух.

Только через сорок минут приехал автобус. Никто из него не вышел. Я забрался внутрь. Но автобус выключил мотор и стоял, замерзая. Все больше раздражаясь, но сдерживая себя, я сидел у печки и ждал, когда мотор вновь заработает и мы поедем хоть куда-нибудь. Как будто бы кладбище не отпускало меня, не получив положенной ему дани. Но я убеждал себя, что все это глупости.

Я подошел к водительской кабине, чтобы узнать, когда мы поедем. Вздрогнул, увидев мертвого человека на сиденье. Он привалился к двери, рот на сером неподвижном лице был

приоткрыт, застывшие руки лежали на руле. Чтобы убедиться, что это не мираж, я протянул к нему руку, коснулся плеча. Он глубоко вздохнул, чуть уронил голову на грудь и проснулся.

Добравшись до города, я вышел на остановке рядом с тем местом, где жил раньше. Все было знакомым, и все было иным. Над зданием, в котором был кинотеатр, теперь светилась вывеска, что это ресторан. Времени было уже около трех часов дня. Получалось, что со вчерашнего дня я ничего не ел. Странно, поняв это, я только тогда почувствовал сильный голод. Недолго думая я стал подниматься по широким ступеням, ведущим ко входу. Толкнув стеклянную дверь, я оказался в большом холле, в котором были расставлены столы. Тихо играла музыка. Ни один человек не сидел ни за одним столом. Я отодвинул стул и опустился на сиденье, обитое красным бархатом, и стал ждать. Никто не появлялся. В этом городе явно не хватало людей. Их почти не было на улицах. Редкие машины проезжали по широким улицам. Я призрак в призрачном городе. Но, блин, очень хочется есть.

– Эй, – крикнул я, – есть тут кто-нибудь?

Мой голос подхватило эхо. Я вздрогнул, когда совсем рядом за правым плечом услышал вежливое покашливание. Официант, чуть склонившись, в ожидании застыл с блокнотом в руках, готовый принять заказ.

– Вы уже выбрали? – спросил он.

– Нет, – преодолевая раздражение, ответил я, – у меня нет меню.

– Вам нужно меню? – уточнил он, уже что-то записывая.

– Нет! – вскинулся я.

Он молчал, а я пытался успокоиться. Что я, правда, так бешусь? Видимо, от голода. Скорее надо поесть. Но что?

– У вас есть цеппелины? – вдруг спросил я.

– Цеппелины? – снова переспросил официант и что-то записал в блокнот.

– Да, – чему-то обрадовавшись, подтвердил я, – две порции.

– Вы уверены?

Мне начало надоедать играть в эту игру, и я ничего на это не ответил. Но он стоял и ждал.

– И водки, – велел я, – триста грамм.

Он одобрительно кивнул и снова записал в блокнот.

Мама делала цеппелины. Я помогал ей тереть сырую картошку. От неверного движения по терке вместо картофелины проходили костяшки верхних фаланг большого и указательного пальцев, картошка пропитывалась каплей крови. Сырая тертая картошка выжималась через марлю, смешивалась с вареной картошкой. Из фарша с мелко порезанным луком делались шарики, которые ладонями закатывались в картофельное тесто.

Водку принесли раньше, и я не стал дожидаться остального. Налил и выпил. Обожгло горло, и приятная теплая волна прокатилась под черепом. Сознание смазлось и одновременно стало светлее. Я снова окинул зал ресторана обновленным взглядом. Кое-где за столиками сидели люди. Они негромко общались, вплетая свои голоса в монотонный гул и позвякивания вилок и ножей. За соседним столиком сидели две девушки, и одна из них то и дело бросала на меня взгляд и словно не мне улыбалась.

Силы и уверенность переполняли меня. Я откинулся на спинку стула и пристально смотрел на то, как она смеется, как поправляет пальцами челку, как блестят ее зубы. Она знала, что я смотрю на нее, и поэтому она обыгрывала свой облик как перед объективом камеры.

Я знал, что будет дальше. Совсем скоро я подойду к ее столику. Ее подруга будет казаться вначале недовольной, но я, очень скоро перейдя на «ты», удачно пошучу первый, второй раз. Они будут звонко смеяться, незаметно для меня переглядываясь между собой, общаясь только им известной системой знаков. Я буду настойчив и легок, постепенно концентрируя все свое внимание только на ней, мы будем все ближе друг к другу. Телефон у подруги зазвонит, и, к общему сожалению, ей придется скорейшим образом покинуть нас. Мы останемся вдвоем.

Выйдем из ресторана вместе. Не соображая совершенно, где мы и кто мы, что будет завтра и что было вчера, мы перешагнем порог гостиничного номера и уже на пороге станем снимать все то, что так мешает нам соединиться в одно целое.

Я выпил еще рюмку. Мне стало так хорошо. Покачиваясь, я подошел к их столику и, упав на свободный стул, под недоуменными их взглядами выпалил:

– Они жили долго и счастливо и умерли в один день.

Я засмеялся, очень довольный собой, но, увидев, что они так и не вружились, продолжая широко и радостно улыбаться, попытался объяснить.

– Я приехал к родителям. Проведать их. Вам понятно?

И, продолжая похохатывать, я вернулся за свой столик и еще выпил рюмку.

Время ускорилося. Гул голосов то становился громче, то его уносило куда-то в сторону, будто бы ветром. Я подсаживался к разным столикам, мне хотелось быть ближе к людям, говорить им приятные вещи, обнимать их, угощать выпивкой.

Либо я вышел подышать, либо меня осторожно вышвырнули, но, когда я обернулся, ресторана за спиной уже не было, будто я оказался на полустанке и мой поезд ушел.

Я брел по улице, всматриваясь в фонари, пытаюсь разобрать, где я. Ко мне подступал холод, но из меня с ревом вырывался жар, из распахнутой рубашки било тепло, растапливая застывшие холодные улицы.

Дома кренились ко мне. Я останавливался и пристально всматривался в них.

Здесь, мне казалось, был мой детский сад. Вдоль корпусов младших и средних групп тянулись паровозы, на которых можно было добраться каждый раз в другую страну. Я попытался влезть в вагон, но он оказался какой-то будкой. Не было и каруселей, которые заваливались на одну сторону, и поэтому приходилось поджимать ноги, как только карусель шла вниз. Я поискал железные выгнутые дугой качели, на которых устраивались гонки... Ничего этого не оказалось. Голый и пустой двор. Темные окна покинутых повзрослевшими детьми зданий.

Но как-то надо было пробираться дальше.

Каменные фигуры подступили ко мне. Они заполнили улицы этого пустого города. Я шел от фигуры до фигуры. Каменные истуканы. Дети. Старики. Мужчины. Женщины. Среди деревьев, дорожек, аллей. Людские головы вырастали прямо из-под земли. Огромные каменные глаза. Я тянул к ним руку и чувствовал, как холод неподвижных зрачков проникает через пальцы в меня. Всего моего пламени не хватало, чтобы вдохнуть хоть немного тепла в эти неподвижные и мертвые изваяния. И, как обессилив, я катился дальше, все быстрее и быстрее, будто бы был круглым камнем, заброшенным кем-то на вершину горы и там не сумевший удержать равновесие.

Я сидел на поребрике у клумбы у нас во дворе, с большим усилием поднимая голову на светящиеся окна квартиры, в которой мы жили раньше. Мне хватало сознания, чтобы не начать кидать мелкие камушки, как делали друзья, чтобы не звать меня в гулкой каменной коробке двора. Мне было холодно. Каждую клетку моего тела колотило дрожью, которую я не в силах был унять. Я делал попытки подняться, но валился назад, падал, с недоумением понимая, что руки и ноги так просто меня уже не слушаются, разбредаются в стороны, бормоча свою бессмыслицу.

– Хорошая собачка, – я подзывал к себе настороженного пса, который вышел откуда-то. Я фокусировался на его морде, но ничего не получалось, пока я не закрыл один глаз. Я уговаривал его подойти ближе, но он все время отбегал, стоило мне шевельнуться.

– Чарлик, Чарлик, – я вспомнил его имя. Он умер от старости, когда мне было шесть или семь лет. Старый неповоротливый пес с длинным сизым языком. Обросший длинной свалывшейся шерстью. Мягкий, теплый.

Я обхватил его за шею и сидел так, рыдая и согреваясь.

Побег

От кофе к нёбу пристал вкус гладкой пластмассы. Иногда, вот так, вдруг постигаешь суть вещей. Меня не должно здесь быть, в очередной раз подумал я. Говорят, что помидоры кричат, когда их режут на части, вот и сейчас припудренная пышка отползала от меня, но слишком медленно, я протянул руку и съел ее. Будет изжога, такова расплата.

Губы слипались, и из разговора только мычание было отчетливым. Я смотрел, как Ольга говорит, и меня чуть покачивало, словно я на ботике в открытом море, совершенно один. Мы живем вместе три года, и уже довольно давно я вижу яркие и отчетливые сны. Сегодня мне снились биороботы, они повторяли каждое мое движение, я словно управлял ими, и их становилось все больше и больше. У нас нет детей, и никогда не будет, мои сперматозоиды едва шевелятся. Все чаще я думаю о том, что я невольно перенимаю у них это. Мы купили собаку. Домашние животные – это атрибут одиночества. Чтобы дома не наступать все время в лужи мочи, я гуляю с собакой и утром, и вечером. У меня в карманах полиэтиленовые мешки. В моей бороде появился седой волос, я выдергиваю его, но он ведь все равно растет где-то там внутри, и я чувствую себя слабым и постаревшим. А я скучаю по своим детям. Какие они? Иногда я вглядываюсь в чужих, застываю, прищурившись, пытаюсь вспомнить и узнать. Но мамашки спешно уводят их, и скоро и мне приходится уносить ноги. Напрасно. Я бы покупал им игрушки, катал на кликушках, читал бы сказки на ночь. Они вырастут, и уже будет кому гулять с собакой вместо меня. Но день сменяет день, ничего не меняя, только унося куда-то частичку меня. Я становлюсь все более и более разбавленным. Прозрачным и незаметным. Мне нравится думать об этом, это как жалеть себя, представляя собственные похороны. Я думаю об этом, а Ольга говорит. По заведенной традиции, спроси меня о чем-нибудь, и я очнусь, переспрошу, что? Мир полон метаморфоз, вот и здесь, в пышечной, вместо санитарных запретов пятнистая кошка; дети, поставив на паузу игры в планшете, садятся на корточки и гладят ее кончиками пальцев, словно прикасаются к гладкому экрану, и при нажатии кошка увеличится в размерах или расчленился на куски. Поменять бы голову на неразрезанный помидор. Я не нравлюсь себе. Моя борода растет от безволия. Какая это мука каждое утро лепить из всего этого что-то для других приемлемое. Скорее всего у меня депрессия, я разучился позитивно мыслить, хотя меня и учили этому. Казалось бы, это как ездить на велосипеде. Но нет. Поэтому мне себя любить не за что, только уживаться. Словно ко мне подселили нечистоплотного соседа. Который еще к тому же сжирает всю мою еду из холодильника. У Ольги заканчивается терпение. Я же вижу. Несмотря на то, что зрение мое куда-то все падает и лица становятся отчетливыми только за несколько шагов. Я вижу, что одуванчики уже отцвели и на газонах торчат мертвые бесцветные антенны. Они только похожи на антенны. И даже нет и намека на внеземную цивилизацию. Но может быть, там мои вертикально закопанные биороботы. Стоит только мне подать сигнал, и мы захватим этот мир и будем тут бесчинствовать и властвовать. Они только этого и ждут. И своим ожиданием уже они управляют мною, а не я ими.

– Олег, – говорит Ольга, – ты слышишь меня?

– Да, да, – говорю я.

– Я беременна, – повторяет Ольга.

– Да, да... – продолжаю внимательно кивать я.

– Не от тебя, ты слышишь меня?

Я киваю. Киваю. И криво ухмыляюсь мыслям о том, что и этой пышке от меня не уползти. А кошка разлетается на куски.

Тело

Наступая на раскаленный солнцем песок, люди, уходившие с пляжа, подпрыгивали и негромко вскрикивали. Мальчик выбежал из воды и, дрожа, лег на живот. Капли блестели на его бледном теле.

– Надень кепку, – повторила женщина, но мальчик не реагировал, посматривая на проходящих по кромке воды торговцев. Мокрые волосы быстро высохли и застывали, просоленные морской водой. Мир едва был виден в белесом слепящем воздухе. Продавали пончики, солнечные очки и разные безделушки. Женщина подозвала торговца и стала вместе с дочкой выбирать веревочный браслет ей на ножку. Мальчик перевернулся на спину и молча смотрел, как сестра мучается от необходимости выбора.

Я внимательно наблюдал. Мальчик повернул голову в мою сторону, но, до конца не понимая причину своей легкой тревоги, лишь скользнул по мне взглядом. Вновь перевернулся на живот, стал, сучая, набирать в кулак песок и сыпать его пылящей стружкой.

Женщина взяла дочку на руки и, словно не чувствуя раскаленного песка, пошла к воде. Глядя на ее бедра, прямую спину и расправленные плечи, то, с какой легкостью она несет трехлетнюю девочку, я завидовал и тосковал. Это было красиво. Отчетливо на фоне голубого небесного свода и тонкой линии моря. На ноге девочки, как уже что-то неотъемлемое, болтался явно великоватый ей цветной браслет.

Они приходили на пляж на одно и то же место. Дети строили песчаные замки у самой воды, забегали в воду, и иногда волны сбивали маленькую девочку с ног, она в испуге выбежала на берег и кашляла, нахлебавшись воды. Девочка постоянно капризничала. Мальчик был молчалив и флегматичен. Женщина спокойна и казалась равнодушной к происходящему вокруг.

Зарываясь пальцами в песок, выуживаю оттуда, словно леденцы, гладкие камни, считаю их по-гречески: «Эно, виа, триа, тесера, пенда, секста...» Цифру семь все не найти, но вот и она – «эпта», потом одна за другой: «Окто, эниа, зека». А дальше уже и не знаю, как это будет по-гречески.

«Дэ мило элиника», – повторяю словно заклинание, слова записаны на уже потрепанном листе бумаги. Память никуда не годится. Казалось бы, уже знаю слово, но роюсь в карманах шортов, а его все не найти. Солнце заполняет слова. Мысли лениво ворочаются. Наползают тени воспоминаний, но они призрачны и не имеют ни силы, ни отклика. Ветер приносит обрывки разговоров и детские крики. Воздух, тепло, песок рассеивают меня, но вместе с тем наполняют медленной и густой силой, которая еще никак не проявляет себя, только копится, словно заряд в батарее.

Иногда пальцы находят оранжево-бурые камни. Так когда-то земля вернула себе огромные валуны, из которых строились крепостные стены, где со щитами и короткими мечами стояли на башнях под палящим солнцем дозорные. Они всматривались в горизонт, на дремлющей водной глади ловили дымчатые силуэты торговых кораблей и рыболовных суденышек. Но все это поглотило и перемололо время.

Здесь, где время имеет иное исчисление, минуты и века – одного порядка, уже не кажется странным то, что изменения, какими бы они ни были медленными, не ускользают от твоего внимания. Поэтому я замечаю все то, что происходит во мне. Выброшенная на берег медуза под солнцем испаряется до ломкой пленки, а я, напротив, обретаю тело, которого совсем недавно словно и не было. Так белая кожа, слабые мышцы, выпирающие кости жадно вбирают в себя материю и свет, чтобы напитаться и ожить.

Но все-таки во мне больше от медузы, чем от кого другого.

Когда спадает жара и небо начинает темнеть, улицы поселка пустынные, но наполнены звуками голосов, которые гулко доносятся с балконов: греки ужинают и потягивают ризину, перекидываясь с балкона на балкон приветствиями: «ясус» и «калisperа».

Я снова вижу эту женщину (глаза мои закрыты), она идет по улице, держа за руку девочку, мальчик кружится вокруг них на велосипеде. Велосипед простоял всю осень и зиму во дворе под открытым небом, поэтому спицы и цепь бурные от ржавчины, а камеры быстро спускают воздух, приходится подкачивать каждый день. Перед перекрестками мальчик останавливается и ждет, когда его догонят мама с сестрой. Бейсболка его надета козырьком назад. Девочка в белом платье, отчего в сумраке кожа ее кажется раскаленной, – она все так же хнычет. Они идут на центральную площадь поселка, там уже развернулся вечерний базар с фруктами и овощами, к ужину нужно купить свежих помидоров и огурцов, немного черешни, но детям, конечно, интереснее аттракционы: надувные башни, машинки, батуты. Ветер прикасается к русым волосам женщины, на носу шелушится кожа. Земля у батута вытоптана, вокруг сухая выжженная трава. Дети визжат и толкаются. Взрослые сидят напротив на пластмассовых стульях или в открытых кафе поблизости. Поселок, застывающий в зной, оживает только для того, чтобы громче были слышны разговоры и воздух наполнился запахами таверн. На электронном табло, установленном у дороги, что ближе к побережью, температура воздуха сменяется таким же застывшим временем.

Женщина несет тяжелые пакеты, ручки которых впиваются в ладони, она время от времени останавливается и растирает пальцы. Воздух быстро остывает, и становится холодно. Но апартаменты уже близко.

Дети скидывают сандалии. Пихаясь и ссорясь друг с другом, они хватают каждый свои игрушки, но играют вместе на пороге балкона. Женщина моет черешню и ставит тарелку перед ними прямо на пол. Берет одну ягоду сама. Брызгает, губы становятся темными от сока. Ягода очень сладкая. Но дети равнодушны. Мальчик раздражителен, покрикивает на сестру. В темнеющем небе видны первые звезды и двигаются вдалеке огоньки заходящего на посадку самолета.

Женщина жарит овощи, чистит рыбу; мясо быстро белеет, и тонкая шкура прилипает, остается на сковороде. Стол накрывает на балконе, ставит большие керамические тарелки, разливают по стаканам апельсиновый сок. Дети ковыряют вилками в жареных стручках гороха, отворачиваются от рыбы, но женщина настойчиво кормит сначала мальчика, потом девочку. Только после этого садится за стол сама. Дети скоро затихают. Она входит с балкона в комнату, укладывает их на матрасы. Гасит свет, долго сидит в темноте, укрывшись пледом, пьет вино.

Утром по поселку разносятся крики продавцов из автофургонов, они бубнят голосами, усиленными и искривленными мегафонами: «карпузи», «керасья», «псари»... Фургоны едут по параллельным улицам, и сквозь сон слышишь, как они все ближе и ближе, а когда проезжают под окнами, становятся оглушительными. Но, подобно отливу, вскоре они удаляются, становятся едва различимыми, а потом и вовсе сливаются со снами. Дети проснулись, негромко переговариваются между собой. Занавеска надувается и опадает. Выше козырька балкона голубое греческое небо. Женщина и спит, и уже не спит. Сознание сползает в полудрему и вновь выныривает.

Дальше по улице пекарня. Мальчик упрасивает мать, и она отпускает его одного за свежими булками. Он торопится, но, словно осторожный зверек, останавливается у перекрестков и смотрит по сторонам. Как он объясняет, что именно ему нужно, для женщины – загадка, но большой и ленивый грек укладывает ему в пакет свежий хлеб, говорит что-то по-гречески, спрашивает. Мальчик кивает или пожимает плечами. Почти всегда мальчик в довесок получает пончик, обильно посыпанный сахаром. Прибегает радостный обратно. Женщина режет пончик на две части. Девочка сразу же жадно съедает свою долю, капризничает и просит еще. Цикады в воздухе трещат все сильнее.

Поселок окружают посадки оливковых деревьев, стройными рядами, словно выющиеся волосы гордой красавицы в белой тунике. Женщина и дети выходят на окраину. В мутной воде канала, уходящего от берега моря куда-то вглубь земли, плавают большие рыбы. Они вдруг выпрыгивают из воды или же выгибают над поверхностью спины. Дети кидают с мостка мелкие камушки, отчего рыбы, не понимая обмана, устремляются за ними. Дети радуются.

Но вдруг мальчик теряет интерес и, что-то вспомнив, рассеянным взглядом смотрит перед собой. Начинает тихо повторять: «Эно, виа, триа, тесера...»

Женщина вздрагивает и недоуменно смотрит на ребенка.

Мальчик замечает меня и внимательно рассматривает. Я стою рядом и смотрю, как девочка швыряет камни, целясь в рыб.

Я остаюсь на месте, а женщина уводит детей, чувствуя инстинктивное беспокойство. Я с тоской смотрю им вслед. Есть вещи невозможные.

Солнце клонится к горизонту. Волны, взбивая пену, охватывают лодыжку, но это прикосновение едва заметно. Вода теплая.

Дети бегут за отступающей волной, но она их вновь обманывает и сбивает с ног, одежда вся мокрая. Они вскакивают и бегут дальше вдоль берега.

– Нет, – говорит женщина в трубку. – Я еще не сделала того, о чем он просил. Я знаю, что осталось два дня. Я помню. Да.

Терпеливо, но с раздражением, которое едва удается скрыть, она говорит по телефону со своей матерью. Но вдруг не выдерживает и кричит в трубку:

– Хватит мучить меня! Я все сделаю!

Я вижу в ее руках маленькую урну. Проводит ладонью по ее шершавой поверхности. Амфора легкая.

Подбегает мальчик.

– Там папа, – говорит он, обращаясь ко мне.

Маленькие рыбки подплывают к моим ногам и пощипывают кожу. Дно при входе в воду каменистое (идешь и приседаешь), но стоит пройти еще немного, и под ногами песок бугристый, как кошачье небо. Я ложусь в воду, тело становится легким, и на губах соль. Я закрываю глаза, волны одна за другой, проходя сквозь меня, чуть приподнимают мои руки и ноги.

Как объяснить? Говорят, что почти всегда боль остается в ампутированной ноге или руке. Фантомная боль, кажется, так. И пусть даже не боль. Ты все равно чувствуешь тот орган, которого нет, покалывание в пальцах, прикосновение, присутствие. Так, наверное, и у меня.

Потому что меня больше нет.

Когда я выбираюсь на берег, одеваюсь, чувствую, как к мокрому телу липнет песок. Ночь безлунная, и поэтому вода черная. Только вдалеке видны огни кафе и слышны возбужденные голоса, играет ритмичная музыка. Я с трудом иду по песку, в ноги ударяют круглые камни, но скоро выбираюсь на асфальт и бреду по темным улицам. Кошки горящими глазами смотрят мне вслед.

Дети заснули на полу. Я укладываю их на матрасы. Накрываю легкими одеялами. Девочка во сне лепечет что-то кому-то, вдруг обнимает меня, прижимается. Щека колючая, и ей щекотно. Женщина спит на балконе, на щеке у нее – засохший соленый след. Я целую ее, и от моего прикосновения лишь на мгновение прерывается ее дыхание.

Женщина проводит ладонью по простыне, открывает вдруг глаза и видит, что в кровати полно песка. На другой половине.

Мальчик забирается к ней на кровать. Смотрит на нее серьезно.

– Сегодня ночью приходил папа. Он сказал, что уже пора.
Ветер. Тело мое – пыль.

Жизнь

Мы спим. Лето. И ночи белые. Серые стены комнаты светлеют. Воздух густеет, и в него проникает цвет, словно кто-то опустил акварельную кисточку в стакан с чистой водой. Проникает в небо, в близкий лес, в сучковатую вагонку потолка. Вот-вот придет кошка и начнет проситься наружу. Она замурчит, запустит когти в волосы. Но мы спим. У нас разные сны, но мы соприкасаемся голыми телами. Сбитое одеяло вплетено в нас, без него холодно, под ним жарко. Тихо. Птицы не умолкают, за стенами дома их слышно, но они часть нашей тишины.

– Что это? Что это?

– Телефон!

– Какой телефон?!

– Твой, твой телефон.

– Аллю?! Аллю, Вероника Петровна, что случилось?

– Надя, Надя, я... ах... я... ах...

Надя в оцепенении держит телефон в руке. Я уже знаю, что происходит. И я знаю, что все это необратимо. Сгущающаяся чернота ползет из динамиков. Она обхватывает нас. Заполняет комнату.

– Звони в неотложку!

Садоводство пустое. Середина недели. Никого нет. Только мы и через три дома Вероника Петровна. Надя быстро одевается и бежит на первый этаж. Там к холодильнику магнитом прикреплен лист с номерами телефонов. Выбегает из дома. Я иду следом. Ради Нади. То, что будет происходить, это тяжело и страшно. Во мне, как отсеки в подводной лодке, задраиваются один за другим эмоции и чувства, а я сам ухожу на дно. Бесстрастно я смотрю на небо. Не знаю, успеет ли приехать скорая помощь. Или даже если приедет – покачает головой сонный одуревший от второй или третьей смены фельдшер, скажет, что смысла никакого нет, ни одна больница не возьмет, все-таки возраст, и столько бумаг потом заполнять, лучше не мучить человека и дать спокойно...

Преодолевая внутреннее сопротивление, я иду по дороге вдоль садоводства. Мне хочется развернуться и уйти в сторону, дальше в лес, чтобы не слышать судорожные вскрики, проталкивающие воздух через наполненные жидкостью легкие...

– Вероника Петровна, не беспокойтесь, я уже вызываю скорую...

– Я не хочу... ох... не хочу... дай... дай...

– Спокойно, вы должны успокоиться.

Я стою под окнами и не хочу входить в дом. Надя звонит, диктует адрес садоводства, повторяет несколько раз.

Я ежусь. Надя пробегает мимо меня, как сквозь меня. Но меня, и правда, словно нет. Я беспомощен и покорен. Мой удел только напряженно ждать, сжимаясь внутри, сворачиваясь все больше и больше в уходящую вглубь спираль, в страхе бросая взгляд в дыры своей памяти, где ко мне подступают мои призраки. Я видел, как умирают люди. Иногда я был совсем рядом, сотрясаем волнами судорог, от которых под действием огромной, нечеловеческой силы от тела отрывалась душа. И эту силу я чувствую здесь, она накатывает волнами, густеет, тянет все настойчивее.

Соседка продолжает вскрикивать. В этом звуке боль, плач и усталость, но и странный ритм, как удары сердца, и так этим усилием, в этом выдохе, человек держится за выскальзывающую из ладоней тонкую, но еще крепкую нить.

– Вероника Петровна, – я стою боком к дверному проему, смущаюсь, словно знаю, что внутри неодеты, – я здесь, а Надя встречает скорую, потерпите, неотложка уже близко.

– Дима, ох, ох, Дима, заберите, ох, к себе, ох, Рыжика, ох, заберите, ох, к себе...

– Вероника Петровна, – твердо, но странно громко, отвечаю я, – все будет хорошо! Я буду на улице. Я на улице.

Я выбегаю на крыльцо в досаде на себя. Зачем я себя так веду? Что за цирк я устраиваю?

Тяжелый оранжевый свет затапливает ели, и чем больше света, тем легче и чище он становится. Птичий гомон отчетлив и плотен. Но издалека слышится лязг и скрип. Раскачиваясь с одного бока на другой, надсадно взвизгивая рессорами, перекатываясь с корня на корень, к воротам подъезжает ржавая и уставшая машина скорой помощи. Надя спешит следом, захватившись, но, чуть отдышавшись, снова бежит, показывая дорогу.

Молодой врач вылезает из кабины, с припухшими от сна веками и бледным лицом, в измятой синей форме, молча проходит мимо меня и заходит в дом. Я все жду скорого его возвращения, но слышен только неразборчивый за стенками голос, он что-то спрашивает, слышно, как начинает пищать электрокардиограф. Соседка не кричит, а только с трудом что-то говорит. Врач возвращается к машине. У открытых дверей стоит водитель и курит. Вид у него отстраненный, но он помогает вытащить баллон с кислородом из салона.

– Пустой, – убежденно говорит он.

– Нет, – отвечает врач, – этого хватит.

Слышно, как врач произносит слово Выборг, что нужно ехать туда в больницу. Вероника Петровна, выдыхая по одному слову, говорит, что никуда не поедет, что очень устала. Надя уговаривает, убеждает врача, что нужно везти не в Выборг, а в Сестрорецк. Здесь же совсем близко. Не сто, как в Выборг, а от силы десять километров. И он не противится, и начинает звонить в Сестрорецк. И неожиданно там говорят, что готовы принять. Вероника Петровна набирает телефон сына, говорит ему, что она поедет в больницу только ради него. Он что-то отвечает ей, он спросонья не может понять, что происходит.

– Сейчас вы поможете, – говорит водитель мне.

Раскрывает задние створки, выдергивает изнутри металлические носилки, из-под которых раскрываются подставки с колесиками, водитель катит носилки через калитку, ко входу в дом, сдергивает сверху синюю брезентовую ткань.

Соседка в смущении и безропотно позволяет подложить под себя эту ткань, мы хватаемся за ручки, переставляя ногами и топая, несем ее из комнаты на крыльцо, укладываем ее на каталку.

Водитель говорит мне, как взяться, чтобы закатить носилки в машину, но я бестолково берусь все-таки не там. Он резко вталкивает носилки в машину, я вскрикиваю от боли в защемленном пальце, и проступает кровь.

Вероника Петровна беспокойно окликает меня, спрашивая, что случилось, будто все это из-за нее. Я посасываю палец, а мысль одна – это чтобы не забыть.

Мы едем следом за машиной скорой помощи. И я вижу, как казавшаяся необратимой близкая смерть разваливается, растворяется, уходит. Под натиском воли, действия, счастливого случая. Надя сделала все, что нужно было сделать. Не растративая время на сомнения и оцепенение, не поддавшись безысходности, а выстроила дорогу прочь из этой неизбежности.

В Сестрорецке, когда Веру Петровну везут по двору к приемному покою, она все беспокоится о моей руке.

Не мешкая, через полчаса ее оперируют. Делают аортокоронарное шунтирование. Сердце болит, но уже работает.

Мы возвращаемся домой. Уставшая и спокойная, Надежда, добравшись до кровати, почти сразу засыпает. Я лежу рядом и смотрю на нее. А вокруг мир, который удалось спасти. Дышит обычный день. Стучит сердце.

Последняя зима

Я сидел на кухне и слушал радио. Постановку Гоголя. За окном темнота. В окне не разобрать ничего, только мое отражение в свете настольной лампы. Приемник был вытянутый и желтый. Я крутил колесико, настраивая волну. Гоголь потрескивал, как полено в камине. В квартире было холодно. Я притащил из комнаты одеяло и закутался в него. Бабушка спала, охая и вздыхая во сне. На ней сидела кошка. То ли грела, то ли грелась.

Мы постепенно обживались. Квартира была маленькой, к тому же захламленной вещами, которые мы перевезли из старой квартиры. Так на кухне оказался мой письменный стол, он стоял вдоль стены рядом с холодильником. Я должен был делать уроки. Но дело не двигалось. Мне было тоскливо.

Наша старая квартира была в центре города, окна выходили на центральную площадь. А эта квартира в низком блочном доме с холодными стенами и темным прямоугольным двором. Пустынным, чужим и тревожным. Мне ничего не нужно было в этом дворе, я всегда стремительно его пересекал, торопясь на остановку автобуса по дороге в школу. Под ногами хрустели одноразовые шприцы.

Хотелось есть. Я взял кусок хлеба и, посыпав его солью, отщипнул мякиш. Поставил чайник на плиту. Смотрел на голубую корону пламени. На кухне раковины не было. Прошлые хозяева сняли ее и забрали с собой вместе со смесителем, трубы забились деревяшками. Воду в чайник нужно было набирать в ванной. Вода была не такой, как я привык, с каким-то кислым запахом. Чая не было. Я налил в кружку кипятка и так грелся.

После Гоголя стали говорить о новой колонии на Луне. Я раскрыл учебник по физике. Но мне было неинтересно. Полистал английский. Тоже нет. Стал читать. Заснул за столом.

Мы жили с бабушкой. Поначалу родители оставляли меня у нее время от времени. Потом уже к ним я ходил, как в гости. Им было не до меня. Скорее, меня просто заслоняло что-то. Я был, но не на переднем плане, а где-то на краю видимости, и это их устраивало. Они не хотели казаться хорошими родителями. Все было по-честному. Они ничего были мне не должны. И мне тоже не мешали жить. Стоило мне попросить денег, они никогда не отказывали, даже одалживали, если у них не было. Я быстро научился этим пользоваться. Только вот иногда мне казалось... Это могло длиться даже несколько дней кряду: я даже переезжал к ним – мама чистила картошку, жарила котлеты, отец закидывал ноги на стол, рассказывал мне, за кого болеть, а за кого не стоит в новом футбольном сезоне... Я почти сразу верил, что все наконец-то налаживается... Но я приходил из школы и уже с порога видел, что они опять задвинули меня на задворки. И хотя они с горящими от болезненной радости глазами смотрели на меня и даже разговаривали со мной, но взгляд проходил сквозь и слова возвращали только пустоту. В этот момент во мне проносилась выжигающая внутренности волна. Раз за разом. Снова и снова. Чистая гладкая поверхность скорчилась и потемнела.

После школы я поехал в консульство.

Я добивался разрешения с четырнадцати лет. В то время со мной были терпеливы. Мне сказали, что мой возраст еще не позволяет сменить гражданство. Решение можно принимать только в шестнадцать лет. Что сейчас мне проще оформить обычный паспорт, а уже в шестнадцать отказаться от одного гражданства и получить другое.

В шестнадцать я так и сделал, и, когда прошел в консульство с документами на руках, на меня посмотрели как на сумасшедшего. Кто мне так сказал сделать?

Отказавшись от гражданства, я завис в воздухе, стал юридически невесомым. Но каждый месяц я настойчиво записывался на прием к консулу. И у меня даже мысли не было, что может не получиться. Я знал точно, этой весной мы с бабушкой уедем. Словно это уже произошло.

В очереди томилось несколько человек, судя по документам в руках, стоявших за обычными туристическими визами. Я прислушивался к их разговорам, будто через их плечо заглядывая туда, по ту сторону мира, куда так стремился.

– Юноша, вас ожидают, сюда, – я не сразу даже сообразил, что это говорят мне.

Передо мною стояла девушка, высокая, в черных туфлях, в белой рубашке, с открытой шеей и стянутыми в конский хвост блестящими гладкими светлыми волосами. Она терпеливо молчала, ожидая, когда я наконец соображу, что к чему.

«Что-то новенькое», – подумал я.

И точно, я стал замечать, что, хотя, на первый взгляд, все оставалось как и прежде, но люди, которые находились в консульстве, стали другими, но не в смысле, что новыми, неизвестными, а вели себя иначе. Были сосредоточены и молчаливы. Обычно меня чуть ли не по плечу хлопали, как племянничка, который заскочил к любимой тетушке.

Переступив порог кабинета консула, я понял, что не так.

Этого человека я видел впервые. Значит, он, быть может, совершенно по-другому отнесется ко мне и решит мою проблему. Словно что-то внутри взорвалось. Я в отчаянии осознал, что опять попался. Во мне вновь проснулась надежда.

Надежда – самое ужасное, что есть в моей жизни. Она превращает течение дней в судорожные толчки. Меня бросает из одной крайности в другую. Меня то переполняют энергия и счастье, чувство того, что мир смотрит на меня и видит, то, наоборот – разочарование, апатия и опустошенность. Иного не дано. По пять раз на дню. Такими рывками я и двигаюсь вперед.

Человек испуганно и неуверенно смотрел на меня. Кто этот ребенок? Что ему надо? А я судорожно пытался вытащить из портфеля папку с моими документами.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Добрый день, вы присаживайтесь.

Когда мы оба немного успокоились, я стал рассказывать, а он переключал листочки из моей папки.

– Мы хотим уехать вместе с бабушкой, уже все готово, осталось только оформить гражданство. В этом году я заканчиваю здесь школу. Летом хочу поступить уже там в колледж...

– А родители?

– Вот их согласие.

– Мне нужна справка о том, что у вас нет гражданства.

– Но вот вид на жительство...

– Но это не значит, что у вас нет гражданства. У вас может быть вид на жительство и гражданство.

Я не стал спорить. Я знал, что таких, на первый взгляд, абсурдных требований в системе очень много. Я был к ним готов.

– И, если я принесу вам справку, вы дадите мне гражданство?

– Да, основание у нас есть, но следует соблюсти все формальности.

Он хмурился. Он чувствовал, что здесь что-то не так. Я же не хотел давать ему время. Я сгребал со стола свои документы. Я ликовал. Всего лишь простая справка. В ОВИРе я быстро ее получу. А дальше только вопрос времени. И все сбудется!

Я вылетел из консульства и помчался домой.

В нашей старой квартире еще никто не жил. Пустые запыленные окна. Серая мутная внутренность. Трещина по балкону. Я, задрав голову, стоял и смотрел. Я видел, как на этом балконе словно снова сидит моя бабушка в платочке и плаще. Ей было сложно выходить на улицу – третий этаж, пустой асфальтированный двор. Она садилась на стул, который вытас-

кивала из комнаты, и загорала, подставляя белое лицо вечернему низкому солнцу. Сторона была теневая, но около пяти солнце выкатывалось из-за угла центральной улицы на площадь. Я помахал рукой бабушке, но сразу одумался, когда от меня кто-то шарахнулся. Воспоминание развеялось.

На все нужны деньги. Именно поэтому мы были вынуждены продать квартиру. Эти деньги требовались на переезд. Чтобы купить уже там что-нибудь на первое время. А уже после переезда продать все, что останется, и разрубить все концы, сжечь все мосты, все корабли. Чтобы не было никаких путей обратно. Во мне бушевала молодая кровь. Земля, на которой я родился, отталкивала меня, глаза заволакивали грезы о других пространствах, меня тянули другие горизонты. Со мной было все более или менее понятно. Но бабушка... И хотя я над этим особо не задумывался, воспринимал как данность, но она не то что просто не мешала мне, доверчиво следуя моему юношескому сумасбродству, но вместе со мной хотела того же. Уехать.

Сорок лет назад она приехала сюда за дедом на занятые победителями территории, в послевоенный разбомбленный город, с двумя детьми. Дети выросли, город отстроился. Жизнь прошла. Тело постарело и стало чужим. Эти ноги, измученные водянкой, слоновьи ноги, эти груди, висящие лепешками до пупка, этот живот в складках, сползающий, тянущий к земле. Во рту только два обломанных стертых зуба. Редкие волосы – не прекрасно седые, а желтые, остающиеся в гребешке при каждом прикосновении, хоть не расчесывайся. Этот мир помутневший, эта чужая земля. Бабушка хотела домой. И бабушка не собиралась умирать. Она, как и я, видела себя под другим небом.

Автобус выбирался из старого города, минуя пустыри и новостройки, повернул в мой новый район. Мешок. Пузырь. Пересекая невидимую мембрану, я отчетливо чувствовал. Мрачнели небеса, прижимались к земле и засасывали в себя черноту дома, тени то ли людей, то ли диких собак мелькали на краю видимого. Душу сжимало от безнадежности. Что, если ничего не получится? Мы не сможем отсюда вырваться, нас задавит эта атмосфера, нас растащат по своим углам эти тени...

Мигнули и стали разгораться фонари. Мир по-прежнему видел меня и посылал знаки.

Бабушка смотрела сериал. Я подогрел куриный суп и сделал ей чай. Покормил кошку вареной путассу, смешанной с размоченным куском батона. В двух словах передал мой разговор с консулом.

– Дело осталось за малым.

Но бабушку сейчас волновало другое. Попросила меня перевести, о чем говорят герои сериала. Телевизор упрямо выдавал только местную речь. Это было возмездием. И еще одним напоминанием. Это мне быстро надоело. Я засобирился обратно в центр. Позвонил Айвару, договорились сходить к Тане.

Обратный путь в центр, как водится, был короче.

Я знал, что это пустая трата времени, но все равно решил заскочить к родителям, нырнул в их подъезд и, открыв своим ключом дверь, зашел к ним в дом. Они спали. Тяжелые шторы были плотно задернуты, словно здесь бразильские ослепительные сертаны, а не сумрачный край мира. Я сел в кресло и немного подождал. Включил телевизор. Сделал громче. Они не шевелились. Только шумно сопели. Воздух набирался в их грудные клетки и вырывался через слипшиеся сухие губы. Я встал, нашел их вещи и поискал в карманах деньги. Ничего не нашел. Не выключая телевизор, вышел.

Айвар взял собаку, и мы пошли прогуляться.

Айвар уже сделал все уроки, я же вовсе не собирался. Конкретные повседневные вещи, из которых в дальнейшем складывается большое и хорошее, не находили во мне отклика. Это

большое и хорошее должно было прийти однажды в один миг, его можно достигнуть, в него можно перешагнуть. Айвар был не таким. Его жизнь составляли простые вещи и действия. Они были ему интересны. Учеба ставила конкретные цели, впереди ждала мореходка, при этом береговая специальность – в этом не было романтики, но и черствости тоже не было. Ощущение другой гармонии. Наверное. Ведь можно слушать, как число трансформируется из формулы в формулу, как слово меняет шкуру, подобно удаву. Айвару нравились математика и иностранные языки. И он был терпелив к моему нетерпению.

– Ты слышал, что на Луне формируют новую колонию?

– Да, – закивал Айвар, – Тысяча двести человек на третьем уровне. На глубине восьмисот шестьдесят три метра обнаружена система пещер.

Мы зашли во двор к Тане. Она спустилась к нам, постояла на крыльце. Мы с Айваром посоревновались в остроумии, но она с нами все равно не пошла, только хохотала. Таня была полновата, это было связано с болезнью сердца, но полнота ее не портила, у нее были красивые карие глаза и улыбчивые губы, которые я однажды попробовал поцеловать, однако моя попытка не увенчалась успехом. Мне было легко с Таней: я становился легче, острее, спина моя распрямлялась, плечи становились шире, взгляд горел и появлялась уверенность в себе. Такого не было у меня с другими девчонками.

Мы побрели дальше. Темнота вокруг была влажной и густой. Снега все не было. Только в конце ноября с неба скользили в один из вечеров белые хлопья, которые не могла остановить поверхность земли, и они, не останавливаясь, проходили сквозь, как призраки через стены старинного замка. Но это обычная зима здесь.

Собака Айвара была похожа на растолстевшую лису, она бежала рядом без особого энтузиазма, только потому что мы все равно не дали бы ей разлечься на тротуаре, – эти прогулки были больше интересны нам, а не ей.

Я рассказал про консула, Айвар согласился, что консул что-то проморгал и сразу не разобрался, но упускать возможность нельзя: не затягивать, достать справку – и дело в шляпе. Сомнений в правильном ходе событий не возникало, и легкое чувство сохранялось.

Я вернулся домой около одиннадцати. Бабушка проснулась. Я помог ей пописать в горшок. Набрал в бутылку горячей воды и положил в ноги, старому сердцу не хватало сил на большой круг кровообращения, руки и ноги были ледяные. Спасала только кошка. Из невидимых трещин в стене дуло.

Я поехал в ОВИР за справкой через два дня, согласно часам приема. Правила были все те же. Множество справок, согласий и разрешений, переводов, запросов, заявлений, фотографий. Это было похоже на игру. Я делал ход, мне отвечали, я попадал на горячие зоны и скатывался на несколько ступенек назад. Я пропускал ход, попадая на предпраздничный день или же на изменившийся график приема, я мчался от кабинета к кабинету, протискиваясь в последнюю перед обедом минуту, или в оцепенении ждал у закрытых дверей. А в конце – сомнительный выигрыш, я перестал быть гражданином, стал лицом без гражданства, гражданином мира, как те собаки на Северном полюсе.

Пустькая справка обещала новые мыканья.

– Я не могу вам дать справку о том, что у вас нет гражданства, у нас нет такой формы.

Я бледнею, умоляю, кричу, плачу. Меня отпихивают, мое место занимает другой проситель. Но это мы все проходили, я вновь протискиваюсь в кабинет, я делаю вид, что взял себя в руки.

– Но я могу дать вам справку о том, что вы отказались от гражданства тогда-то и тогда-то.

Я ликую, я шепчу слова благодарности, мои руки тянутся к благодетельнице, я готов пасть к ее ногам и целовать краешек ее дорогих джинсов.

Вдоволь наигравшись в цирк, я выхожу на улицу и озадаченно смотрю на справку.

– Надеюсь, это то, что нужно.
Напрасно.

Я слушаю радио. Передают лунные новости. На окне красные жалюзи, оставшиеся здесь от прошлого жилья. Они придают кухне современный вид. В моем понимании. Ведь ничего подобного в нашем доме никогда не было. Старые, но не антикварные вещи. Хлипкие и поблекшие, вобравшие в себя слабость времени, а не его терпкий густой запах. Эта слабость перебралась сюда. В этом нагромождении вещей теряется всякое усилие. Это не починить и не выбросить. Оно занимает место – и не только пространство. Если уже есть стол, не купишь еще один. Если есть шкаф, то другой уже некуда поставить. Вот и здесь – вакансий нет. Все места заняты. И надо быть другим человеком, не таким, как я, чтобы начинать что-то менять. Я только и могу, что тосковать о неназванном, теревить призраки застывших человеческих стремлений. Пришла кошка. Потерлась и помяукала. Ласковая, добрая, родная.

– Согласно этой справке у вас уже было гражданство.

– Да, было.

– Тогда ничего не получится. Вариант был только в том случае, если у вас с рождения не было бы никакого. Но вы приняли гражданство другой страны, вы потеряли свой статус.

– Но что мне теперь делать?

– У вас очень интересная нетипичная ситуация, для которой еще не разработаны четкие правила и процедуры. Все очень запутано. И запутано на ровном месте... Вы сами во всем виноваты.

– Я понимаю, но что мне теперь делать.

– Ничего. А там видно будет.

В моей смерти прошу никого не винить. У разбившегося черепа разрастается густая кровавая лужа. Я шагал, шагал, шагал. Пока холодный ветер не выдул, пусть и частично, мое черное отчаяние. Я никогда не гулял по своему новому району. С удивлением вышел на широкий проспект за дальними домами, пошел вдоль него. По левую руку высились портовые краны, пахло рыбой, солью, мазутом и железом. И так же неожиданно я вышел к паромной переправе. Подошел к воде. У набережной были пришвартованы катера и лодки, по бокам висели черные старые покрывки. Город отступил назад. В стороны и ввысь раскинулись небо и вода. Я хотел поплакать. Но ничего не получилось.

Ночь сплеталась из пугливых снов и беспокойных вздохов бабушки. Я накапал ей валокордин. По потолку пробегали прямоугольники отраженного с улицы света. Нагромождения вещей на местах их временных пристанищ причудливыми черными очертаниями то обступали, то, словно волны, откатывали.

На следующий день в школу я не поехал. Вышел на улицу. Пересек двор, направляясь к переправе.

– Эй, братиша, подкинешь немного денег?

Так и есть, они самые. Серые, болезненные, источающие свой сладковатый густой запах, натянутые до обрыва, опасные. Со мной особо разговаривать никто не стал. Я был чужаком, по ошибке забредшим туда, куда совершенно не следовало. Я нарушил незримую границу. Когда меня били, я с удивлением ощущал облегчение. Страх больше не было. Только яркие вспышки перед глазами, когда чья-нибудь нога с лету футболила мою голову. Гол. И я потерял сознание. Я очнулся от холода, лежа на земле, на полусгнившей траве под забором. В некотором удалении кто-то стоял и ждал, когда я очнусь. Я пошевелился, постанывая от всплесков

боли, перевернулся на бок. Я был без куртки и без ботинок. Один глаз не открывался, и я видел все как на плоском экране в кинотеатре. Звук был соответствующий.

– Ты дурак, – сказала Алла.

Алла училась в нашей школе, но потом ее перевели или исключили. Говорили, что она стала героинницей. Лицо ее было как скорбная маска, и губы словно не шевелились.

– Они хотели тебя убить, ты им не нравишься.

Я молчал. Странное кино.

– Но я сказала, что тебя знаю. Этого будет недостаточно. Они в следующий раз не остановятся.

Она стояла все там же и не подходила ближе. Грязная земля. Ржавая сетка-рабица. Низкое небо. Черно-белый мир.

Но маятник настроения на то и маятник – если он не сломан, то не остается на месте. И уже на следующий день, глядя на расступившееся небо, на облака в свете низкого холодного солнца, я наполнялся уверенностью, что все образуется, что все идет по плану, и этот план подписан не мною, в этом моя судьба, и поезд уже не остановить. Мы с бабушкой заварили чай из ее запасов, и она даже дала мне деньги, чтобы я сходил в магазин и купил сникерс. Поделив его на две равные части, мы пили чай вприкуску и размышляли, как это будет. Мы приедем в начале лета, большой город встретит нас шумной и равнодушной толпой, снимем квартирку поближе к моему колледжу, чтобы я спокойно сдавал экзамены. Здешняя квартира будет искать своего покупателя, и с этим тоже проблем быть не должно, несколько месяцев можно и подождать. После моего поступления мы купим квартиру, я устроюсь на подработку, будем жить скромно, но с единицей в уме, ведь я молодой, я все смогу, ведь там – это не здесь. Там...

Ночью я ворочался, то засыпая, то просыпаясь от бабушкиных вздохов. Они становились все чаще, они вплетались в мою дрему.

Я услышал только, как бабушка сгоняет кошку и садится на кровати.

– Мне плохо, – выдыхает она.

– Бабуля, спи, – бормочу я.

И после этого абсолютная тишина. Я с облегчением проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь утром. Бабушка мертва.

На похоронах только я и родители. Мама плачет не переставая. Отец плохо себя чувствует. Я бросаю ком сырой глины в могилу, дальше могильщики быстро закапывают. Холодно. Моросит дождь. Мама сгорблена. Похожа на старушку. Мы едем в автобусе с кладбища вместе. Почти не разговариваем. Но мне хорошо рядом с ними, как давно не было. Словно мы опять одно целое. Доехав до центра, мы выходим из автобуса, идем некоторое время в одну сторону. Они держатся друг за друга и идут чуть поодаль от меня. Проводив их до парадной, я прощаюсь с ними, отчего им словно становится легче. Я не застаю дома Айвара, иду к дому Тани. Мы стоим на крыльце. Таня хохочет над моими шутками, и я остроумен отчаянно, как никогда до этого. От смеха она не может дышать. Мне страшно возвращаться домой. Я предлагаю остаться с ней до утра. Она не может отдышаться, продолжает хохотать.

Прижав кошку к себе, я чувствую, как бьется ее сердце. Я выхожу из квартиры. Спускаюсь вниз. Во двор. Воняет от стоящих неподалеку мусорных контейнеров. Кошка испуганно мяучит. Я не пытаюсь успокоить ее. Я не пытаюсь найти оправдание себе. Я захожу за угол дома, идет дождь, она дрожит. Я отдираю ее когти от себя и опускаю на землю у окна в подвал. Она не перестает звать и жаловаться. Она старая. Она не проживет на улице и двух недель. Но,

быть может, кто-нибудь будет более милосердным, чем я. Из забавы или жалости сделает то, что был должен сделать я. Я спешу прочь, не оглядываясь.

– Гражданство?

– У меня нет гражданства.

– Родственники?

– Здесь разрешение родителей.

Я готов к этим вопросам. На все вопросы у меня есть справки, я, предвосхищая, все раскладываю на стойке.

– Вы понимаете, что уже не сможете вернуться обратно?

– Да.

– Подпись здесь, здесь и здесь.

Я расписываюсь и прохожу. Все на удивление просто. Меня просят раздеться. Моют и стригут. Выдают свободный комбинезон. Везут на автобусе. Из автобуса я вижу окна нашей старой квартиры. Через полчаса мы в аэропорту. Через два часа уже на месте. Двигатели разогреваются. Вокруг меня люди в таких же комбинезонах. Разных возрастов, поодиночке и группками. Ко мне подходит серьезный мальчик и внимательно смотрит на меня снизу вверх.

– Ты тоже летишь на Луну?

Я киваю.

Мальчик показывает мне ладонь:

– Хочешь, можешь взять меня за руку.

Анна Смерчек. Дважды два

Антон вышел из вагона на станции «Дубки» и немного постоял на платформе, делая вид, что наслаждается открывшимся пейзажем. Было, и правда, хорошо. Особенно после душевной тряской электрички, пропахшей мокрой пылью и чужими вещами. Здесь, за городом, повсюду был щедро разлит душистый летний воздух, раскинут необъятный простор неба с большими неспешными, почти неподвижными облаками, расстелен луг и лес, зеленые, уже чуть прикрытые вечерними тенями. Антон набрал полные легкие дачного воздуха, выдохнул и оглядел платформу. Приехавших было немного: вот тетка везет хозяйственную тележку, мама ведет за руку маленького мальчишечку, пенсионер сердито хромот, артритно опираясь на палку. Больше никого. Все спешат к спуску с платформы, никто не смотрит на него, никто за ним не идет. Неужели? Антон тряхнул головой, перехватил поудобнее торт – килограмм обещанного удовольствия – и букет – модный веник в шуршащем пластиковом кружеве – и тоже двинулся к спуску с платформы.

Дорогу спрашивать не понадобилось: от бетонных ступенек мимо колючих низких кустиков, а потом через маленький островок леса к дачному поселку вела только одна утоптанная песчаная дорожка. А когда, обогнав артритного пенсионера, Антон подошел к садоводству, то сразу и увидел улицу Зеленую. Еще раз оглянулся – сзади никого, никто за ним не шел, даже пенсионер уже куда-то свернул.

Антон пошагал по дачной улочке, где за заборами зрели яблоки и цвели ромашки, все глубже погружаясь в свежесть августовского теплого вечера и чувствуя, как и внутри у него робким цветком начинает распускаться радость. Еще полчаса назад на том самом месте, откуда она сейчас поднималась, где-то в животе, был только тугостянутый зеленый комок тревоги, но тут, в семидесяти километрах от города со всеми его заморочками, этот комок начал раскрываться, как бутон, выпуская по всему организму Антона трепетание недоверчивой радости и надежды, что все обойдется, что все будет хорошо. Хотя бы на какое-то время.

Нашел нужный дом: деревянный, одноэтажный с мезонином, выкрашенный неяркой зеленой красочкой, окруженный неубедительными грядками и клумбами, прикрытый со стороны дороги яблонями. Почему-то представлялось, что участок будет более ухоженным, но сейчас это было неважно. Там, на застекленной веранде, горел свет – а значит, она была дома.

Лидия Павловна

Яблоки с тихим стуком падают в траву. Август – последний месяц. Самый честный из последних. Май – обманщик, уже в цвету, в зелени, смеется над робким апрелем, всюю изменяет весне. Февраль – забывчивый, недальновидный, так и живущий по зимним законам, сквозь метели не прозревающий скорой мартовской расправы, которая даже последних чисел на календаре ему не оставит. Ноябрь – отчаявшийся, махнувший рукой на свою осеннюю красоту, растерявший золотые листья, заранее сдавшийся зиме. И только август помнит, кто он, встречает с радостью и проживает с чувством каждый отпущенный ему день, воплощает свое предназначение.

Я хотела бы быть августом. Зрелым, преисполненным чувства прожитой яркой жизни, гордой от воплощенных мечтаний, спокойно осознающей неизбежность того, что все имеет свой срок. Но я не такая. Созревшие плоды просвещения – разве я видела их? Мои выпускники – где они? Оторвались от ветки, как зрелые яблоки, раскатились по траве, кто с гнильдой, кто брызжет ядом, но большинство живут буднями: кухни, тазики с вареньями, закатанные банки с компотом.

Каждый год, когда заканчивается август, начинаются девять месяцев моих трудов, ежедневные достижения и провалы, радости и горести, согласно учебному плану. Год за годом на этой привычной карусели. По кругу. Только лица мелькают и звучат их детские голоса:

– Лидия Павловна!

Показалось, что от калитки кто-то позвал. Только ведь я никого не жду. Пока прислушивалась, уже зашуршали шаги по дорожке к крыльцу. Пошла к дверям, открыла и сразу узнала его. Сразу поняла, кто это, и через минуту уже вспомнила имя.

– Скворцов? Антон!

– Лидия Пална! – сияет, что твой самовар на солнце. В одной руке – букет, в другой – торт. Словно на день рождения собрался или на свадьбу. Откуда он здесь? Антон Скворцов. Предпоследняя парта у окна. Мальчишечка. Как удивился, что я его сразу узнала. Ну а как же, Антон? Конечно, я помню. Я помню тебя еще в пятнах зеленки после ветрянки. Мы тогда из-за тебя на карантин сели и в театр не поехали. А в седьмом классе ты волосы покрасил, пришел с красными прядями. В учительской Зинаида Степановна сделала мне выговор: как же я так распустила подростков. На выпускном ты вдруг встал и сам, а не по чьей-нибудь просьбе, прочитал стихотворение о школе, так что я прослезилась. И сейчас я могу различить те детские черты на твоём взрослом лице. Уверенным стал, разочарование пролегло складками в уголках губ. Лоб упрямый, каким и был. Руки, плечи сильные – возмужал. Но осталась прежняя подвижность, порывистость, огонек в карих глазах. Конечно, я тебя узнала.

Антон

Она услышала, наверное, как я шел от калитки, или увидела из окна. Еще даже не постучал, а она уже открыла дверь.

– Здравствуйте, Лидия Пална! – бодро, искренне.

Блин, она вообще не меняется. Та же стрижка: светленькие пряди закрывают уши, а сзади над воротником топорщатся, как перышки. Те же полные руки, обдуманное движение. Я ее всегда узнавал почему-то не по чертам лица, а по движениям. Была у нее какая-то своя, особенная манера поднимать руку с куском мела, доставать из сумки стопку тетрадей, вставить, садиться, как будто у нее внутри играет музыка – всегда одна и та же мелодия – и она под нее двигается. Нам эту мелодию не слышно, поэтому движения иногда кажутся надуманными, как будто отрепетированными перед зеркалом. Из-за такой манеры двигаться ее легко было передразнивать тогда, в школе. Одета в какую-то легкую кофту в нелепых цветочках и длинную юбку. Кажется, я никогда не видел ее в брюках. Наверное, стесняется того, что полновата. Да, она совершенно такая же, и главное, смотрит так же, тем же взглядом: внимательным, шершавым. И сразу узнала – вот уж не ожидал. На минуту, может, растерялась от удивления, но потом сразу сказала: Антон.

Прошли в комнату. Круглый стол застелен скатертью, вокруг деревянные стулья, у стены диван, покрытый вязаным пледом, со стопкой книг в углу, на стене бормочет что-то допотопная коробочка радиоточки.

Класснуха. Сколько лет мы с вами не виделись! Восемь? Хотя нет, меньше, еще были встречи выпускников пару раз, и к ней заходили. В наш триста пятый окнами на тополя. Я вижу: сейчас она разволновалась, смотрит удивленно. Ладно, главное, обороты не сбавлять. Пусть поверит в души прекрасные порывы.

Лидия Павловна

Пригласила его пройти в комнату: на веранде становится прохладно, да и комары. Уже справилась с удивлением, а то сначала, кажется, даже давление подскочило.

– Ты один приехал?

– Ой, Лидия Пална, не поверите, случайно, буквально проездом. Ничего? Не помешал?

– Ну что ты, Антон. Молодец, что заехал! Я очень рада тебя видеть. Взрослый, красивый какой стал! Садись, садись к столу!

Стала убирать со скатерти свои записи, книги, очечник. Еще надо его букет пристроить куда-то.

– Антон, тебе рост позволяет, достань, будь добр, вон ту вазу со шкафа!

Он снял сверху хрустального пыльного монстра. Насколько здесь, на даче, показался неуместен букет этих ненастоящих, городских цветов, их хвастливая пышность, нарочитая яркость. И торт слишком большой, вычурный, чуть ли не пластиковый. В этой комнате, на этой скатерти хорошо бы смотрелся домашний пирог – ароматный, еще горячий, чуть просевший с одной стороны, но все равно желанный. Для этих его городских ярких подарков моя дачная обстановка – слишком простенький фон.

– Сейчас чайник закипит. Знаешь, у меня в этом году очень хорошее клубничное варенье получилось. Да ты присаживайся к столу, не стой!

Сели к столу, немного потолкавшись у шкафа с посудой. Я доставала чашки, блюда, сахарницу – один из тех сервизов, которые на день учителя неизменно преподносил очередной родительский комитет. Золотые ободочки, размазанные по фаянсу цветы – неувядающие букеты, неживые, подаренные навечно.

Он и я – мы оба чуть смущены, но знаем, что эту встречу можно разыграть по ролям. Ты – мой бывший ученик. Я – твоя бывшая классная руководительница. В программе вечера: воспоминания.

С тебя еще обязательный отчет о достижениях. С меня еще, может быть, сетования на новых, пришедших следом, учеников, которые, конечно же, меньше читают и ничем не интересуются. С тебя еще, наверное, сплетни о том, как живут теперь бывшие одноклассники: получают должности, женятся, разводятся и заводят детей.

– Как у вас тут спокойно, – Антон откидывается на спинку стула. За окном чуть вздыхают старые яблони, уже опускаются сумерки: прозрачные, синеватые, все равно еще теплые. Тишина, только собака лениво гавкает у кого-то во дворе.

– Так вы тут совсем одна?

– Да, дочка с внуком уже уехали. А я, ты знаешь, не спешу в город. Я люблю август.

Антон смотрит на свою чашку, потом обводит глазами стол. Ломтики лимона на блюде, заварочный чайник с коричневым потеком на носу – у него от чая вечный насморк, отчаянный насморк. Вазочка с темным вязким вареньем и ложечкой – положить ягоду на блюде и позвякать о краешек. Мои привычные вещи, старые, повседневные, для него совсем чужие и, может, даже неприятные. Нотка молодой надменности есть в его взгляде, он думает, вероятно, даже прямо в эту минуту, что его жизнь будет ярче, богаче. Он еще в том возрасте, когда так и надо думать, чтобы проскочить с разлету те годы, когда все устаканится и станет понятно, что жизнь будет как у всех. Блюде с отбитым краешком. Немного, чуть заметно, я уже не обращаю внимания по привычке, только сейчас вот опять увидела этот скол, и сделалось неприятно, опять какая-то неловкость зашевелилась в разговоре.

– Ты так и не сказал, каким ветром тебя занесло к нам, Антон?

– Ехал по трассе, и сломалась машина. Смотрю по карте: совсем недалеко Дубки. И как-то вспомнилось, что тут у вас дача. Дай, думаю, заеду.

– А что с машиной? Что-то серьезное?

– Да совсем там все плохо. На эвакуаторе ее увезли. А я растяпа такой, представляете, даже телефон там оставил.

– Тебе надо позвонить? Можно с моего.

– Да нет, не надо. Это я так, вспомнил просто. Непривычно без мобильного.

– Ты знаешь, тут до станции совсем близко, буквально пять-семь минут пешком. Так что ты не переживай, доберешься до города без проблем. У меня есть расписание электричек.

Положила перед ним листок и спохватилась:

– Я как будто тебя выгоняю! Безобразие просто! Давай-ка лучше еще чайку налью. Положи себе варенья и рассказывай. Ты так и не сказал, где теперь работаешь. Я помню, ты мечтал о своем бизнесе. Все шутил, что в детстве не накатался на каруселях и теперь откроешь свой парк аттракционов.

Махнул рукой, скривил губы то ли в улыбке, то ли в гримасе разочарования.

– Ой, Лидь Пална, ерунда все это. Батуты, карусели – это так, сезонный заработок. Хотя, знаете, у меня ведь был еще контактный зоопарк. Ну, слышали, наверное, просто квартира и там всякие хомяки, свинки морские. Еще игуана была и пара енотов. Сначала прикольно казалось, но потом отказался от этой идеи. Неприбыльно, на самом деле, да и зверюшек жалко, когда их так тискают. Они ведь живые, а с ними – как с игрушками: роняют на пол, тянут за уши, за лапы. Вы когда-нибудь видели хомяка с переломанными лапками? Вот именно, неприятное зрелище.

– И чем же ты теперь занимаешься? Какая-нибудь новая забавная идея?

– А вы, Лидия Пална, по-прежнему считаете, что Антон Скворцов способен только забавляться? Глупости всякие придумывать?

Засмеялся одними губами.

– А знаете, я вообще-то теперь в банке работаю. Да! И у меня такая должность, что открываются очень хорошие карьерные перспективы. Серьезная должность, между прочим. Да, да, несмотря на вашу твердую тройку по математике.

– Молодец, Антон, молодец. Знаешь, ты, пожалуй, меня удивил. Мне всегда казалось, что ты выберешь какую-нибудь творческую профессию. Или что-то совсем необычное. Аттракционы, зоопарки – это как-то больше подходит к твоему непоседливому характеру, чем банк.

– Ну, можете считать, что я наигрался. Решил остепениться.

– Но не женился пока?

– Нет. Я, знаете, решил к браку тоже серьезно подойти. Сначала встану на ноги, а потом уже и...

Вздыхнул, стал смотреть в окно.

– Ты молодец, Антон!

Что это я все хвалю его, как маленького? Как будто ему нужно мое поощрение, одобрение. Посмотрела на него через стол – знакомые, забавно повзрослевшие черты, – потом все-таки сказала то, что казалось мне важным:

– Ты только обязательно оставь в душе немного места для того веселого фантазера, каким был раньше. Помнишь историю про пингвина? Ты ведь нас целую неделю за нос водил: уверял, что он у тебя в ванной живет. Будто бы тебе его отец из командировки привез. Но показывать его пока якобы никому нельзя, потому что он на карантине.

– Вы смеетесь теперь, Лидия Пална, а со мной весь класс потом две недели не разговаривал.

Воспоминания послушно цепляются одно за другое, слово за слово, точно зубчики маленьких шестеренок поворачивают потихоньку механизм, двигают вперед разговор. У него, кажется, нет на руке часов, и телефона, как он сказал, тоже нет с собой – о времени не думает. Поэтому мне пришлось, в конце концов, сказать:

– Антон, мы с тобой так замечательно посидели, так хорошо поговорили, но ты знаешь, там уже скоро последняя электричка до города.

– Уже? – встрепенулся. – А который час?

Братъ яблоки или варенье отказался – куда? у родителей дача, свое девать некуда! – взял мою ладонь в свои, горячие, большие молодые руки, потряс на прощание, помахал из-за калитки и пошагал в сторону станции.

Антон

Поднялся на платформу и сразу увидел желтый луч приближающейся электрички, ползущий по рельсам, постепенно вспарывающий темно-синий непроглядный августовский вечер. Кроме меня, так поздно ехать в город собиралась только одна юная парочка. Эти двое стояли под фонарем, трогательно держась за руки, у девушки – букет садовых цветов, у парня – рюкзак, набитый яблоками. И я – пустой, руки в карманах. Хоть бы закурить, чтобы без дела не стоять, так ведь не курю.

Электричка подгромыхала, открыла двери, постояла, посветила в вечер пустым вагоном. Почему-то казалось, что машинист сейчас выглянет. Спросит: «Ну что, садишься? Это последняя электричка. Больше не будет сегодня в сторону города». И глаза у него будут добрые и непременно голубые, очень яркие на испачканном угольной пылью широком лице. Потом паровоз даст гудок и тронется дальше, а там в полях уже засада: бандиты в шляпах, с кольтами, верхом на лошадях. Скачут, улюлюкают, из окон с испугом глядят пассажиры, те самые парень и девушка, и он уже, конечно, готовится стать героем и защищать ее. Но никакой машинист не выглянул: не бывает в электричках испачканных углем машинистов, да и бандитов нет в полях. Бандиты все в городе, сидят на хороших должностях. Безразличный механический женский голос сказал: «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка...»

А я так и стоял на платформе, руки в карманы. Электричка тронулась, покатила, набирая скорость, из проплывающего мимо окна на меня глядела какая-то припозднившаяся тетка-пассажирка. Думала, наверное, что я провожал девушку. Девушка в город поехала, а я остался. Тоненькая, нежная, юная, как та, что только что села в вагон. Поэтому и уехала от меня в город, что с таким не надо связываться, неприятностей не оберешься. Так, наверное, она думала, эта тетка, глядя мельком на меня через вагонное стекло. Люди чаще плохо думают о других. Не знаю почему. Могла ведь и иначе обо мне думать. Если видела, что я стоял на платформе с самого начала один, то могла бы предположить, что я встречал здесь того, кто должен был приехать с другого конца этой железнодорожной ветки. Кого-нибудь, кто приехал бы и осветил мою жизнь, как поезд, идущий через вечерний пейзаж. Электричка бы уехала, а свет остался и шел бы теперь от этого замечательного долгожданного человека. Мы бы обнялись и пошагали вместе к спуску с платформы, оживленно болтая и уже не замечая ничего вокруг. Но никто не приехал, и я стоял на платформе один, уже немного подмерзая, руки в карманах. Постоял, потом пошел обратно.

Свет у нее еще горел, я постучал, и она открыла. Теперь в халате вместо той, прежней блеклой одежды.

– Антон?

– Лидия Пална! Вы представляете себе, я опоздал! Подбежал, а электричка только хвостом махнула. Невезенье какое-то просто!

– Как же так? Должен был успеть! – растерялась совсем, расстроилась.

– Лидия Пална, ну я теперь буду проситься у вас переночевать! – главное, бодро, жизне-радостно так, не сбавляя темпа. – Да вы не переживайте, мне вообще ничего не надо. Вон у вас диван есть, так я там лягу. Я вас не стесню.

– Ну, заходи, заходи, – совсем растерянная. А чего такого? Понимаю, смущалась бы оставаться одна на даче с мужчиной, если бы сама была молоденькая, а так-то чего уж. Да и места в доме, судя по всему, полно.

– Лидия Пална, вы только не суетитесь. Вы представьте себе, что меня вообще тут нет. Вот я сейчас лягу на диван, и все, просто забудьте про меня. Представьте себе, что это не я даже. Представьте себе, что это кот на диване лежит. Хотите, помяукаю? Мяу!

– Ну, хватит паясничать. Вот возьми постельное белье и постели себе по-человечески. Может, чаю еще?

– Нет, спасибо, хватит мне чаю. У вас удобства во дворе – не набегаешься.

Постояла, посмотрела вопросительно. А я лег, прямо как был, в джинсах, в рубашке, накрылся с головой ее пледом и говорю:

– Мяу!

– Ложись по-человечески, – говорит. Свет погасила и вышла.

Лидия Павловна

Проснулась от какого-то стука. Сначала подумала, что соседи. Соседи – люди со странными биоритмами. Кажется, они шумят только утром, пока я еще не встала, и вечером, когда уже легла. Хотя нет, если днем прилечь на полчаса, они именно в эти полчаса тоже непременно будут шуметь. Потом хлопнула дверь моего сарая, и стало понятно, что это не соседи.

Во дворе возле забора копошился Антон. Полуголый, с белыми незагорелыми городскими плечами, только в джинсах, в руках топор.

– Антон! Доброе утро! Ты что же так рано встал?

– А, доброе утро, Лидия Пална! Я что, вас разбудил? А я-то думал, вы, деревенские, рано встаете!

– Да какие же мы деревенские? Мы – дачники. А дачникам можно допоздна спать.

– А я вот решил забор вам подправить. Смотрите, с этой стороны скоро совсем завалится! У вас молотка кстати нет? А гвоздей? Еще бы пару досок, и можно было бы починить как следует.

– Не знаю, в сарайчике посмотри.

– Там нету. Может, у кого из соседей спросить?

– Ну, можно спросить у Миши. Вон там, в доме напротив. У него хозяйство серьезное. Но только еще рано, он, наверное, спит. Пойдем пока позавтракаем.

Сварила овсяной каши. Это, конечно, не то, что нужно на завтрак молодому парню, ему бы яичницу и бутербродов с колбасой. Но, как назло, у меня ничего нет. От своего вчерашнего торта отказался. Дала ему варенья, стал повеселее. Сидит, поливает кашу клубничными узорами. Я старше его ровно в два раза, он чуть младше моей дочери, на два или на три года. Мальчишечка. Что же ты задумал? Глаз от тарелки не поднимает, прячет лицо за чашкой с чаем.

– Может, тебе позвонить кому-нибудь нужно? Предупредить. На работе не хватятся тебя?

– Да у меня типа отпуск.

– А девушка любимая?

Вздыхнул, посмотрел, хмурясь, на мой телефон. Скорее всего, думает сейчас о том, какая старая модель. Уже и забыл, наверное, как с таким обращаться. Но потом взял его, вышел на крыльцо и стоял там молча. Конспиратор. Я потом посмотрела: последний звонок – это мой вчерашний разговор с дочкой. Думал, не замечу. А еще этот торт с букетом. Таких в нашем сельмаге не купишь.

Дети всегда недооценивают учителя. А учитель не всегда говорит детям о том, что видел или узнал. Иногда прощает. Иногда не хочет конфликта. Иногда дает возможность самим разобраться в ситуации. Смотрю на Антона и думаю, что он мог бы быть моим сыном. Пытаюсь представить себе, как бы это было. Наверное, я бы говорила ему какие-то другие слова, другим

голосом, иначе держала бы себя сейчас. Нет, я для него учительница, классная руководительница и никак не могу почувствовать себя иначе.

Смотрю в окно и хочу быть августом. Теплым и безмятежным. Август осознает свое предназначение. Плоды созрели, и садовник больше не нужен. Садовник может ехать в отпуск к морю. Я так любила эти отпуска! Могла часами сидеть на берегу, ничего не делая, только слушая, как набегают волна и отступает, шуршит мелкими камешками. Вся эта суета – только кромка прибоя. Линия соприкосновения с землей. Если бы море могло чувствовать, ему было бы неприятно от этого соприкосновения, как и мне бывает неприятно от столкновения с грубостью, несправедливостью или, вот как сейчас – с ложью. Полоса Прибоя: камни, стекло битое, окурки, обертки. Хорошо, что это только тонкая линия. А я там, дальше, глубже. Как море. Я хочу уйти в открытое море, подальше от берега, подальше от этой проклятой полосы прибоя. От ненужных мне сейчас посторонних. Уйти и не биться больше с ними, не биться об них, не стараться вбить что-то в их головы, не пытаться выбить у них правду.

Что у тебя случилось, Антон? Что ты задумал?

Антон

Сидел там перед ней и думал: она мне, наверное, в матери годится. Сколько ей? Шестидесят? Да нет, меньше, лет пятьдесят пять, наверное. Или пятьдесят. Учителя – они вообще, как правило, люди без возраста. Их и самих, должно быть, клинит на этой теме. Вот Лидия – она взяла нас в пятом классе, когда нам, получается, было по двенадцать лет. И в девятом классе выпустила, когда было уже по шестнадцать. И после нас ей дали новый класс, и там всем снова было по двенадцать. И опять ломающиеся голоса, сальные волосы, прыщи, драки, потом первая любовь у кого-нибудь, сигареты за школой, вся эта фигня по новому кругу. Мы жили дальше, а она как будто вернулась в прошлое. Помню, я тогда в пятом классе очень удивился, когда узнал, что у нее есть дочка года на три старше меня. Так странно показалось, что она, наша Лидия Пална, может быть где-то вне школы, что у нее есть какой-то муж, для которого она, скажем, просто Лидочка, и что есть какая-то девчонка, которая зовет ее мамой, а не по имени и отчеству. Мне было легче вообразить, что Лидия Пална, стоя перед плитой, показывает указкой на кастрюлю и говорит: «Вот это суп, запомните», чем представить, как она этот суп варит, кидает в кастрюлю порезанную картошку или там капусту какую-нибудь. И теперь я сидел напротив нее за столом, ел ее вязкую теплую овсянку и думал, что она – класснуха. Никакая она не хозяйка этого дома, суемящаяся у плиты в переднике и с поварешкой. Никакая она не дачница, стоящая попой кверху среди грядок. Никакая она не душевная тетечка, знавшая меня маленьким, которая всплакнет, когда ребята из города до меня доберутся. Она – класснуха. И все, что она сделает, когда они до меня доберутся – так это объяснит, какие я допустил ошибки. И, может, еще расскажет ребятам из города, что поступать так, как они, нехорошо и безнравственно.

Починил ей забор и сразу ушел: сказал, что обещался помочь соседу Мише, у которого брал молоток. Правда, обещал. Ему там надо было какие-то доски перекидать с одного места на другое. Мужичонка-то небольшой, щупленький, немолодой уже, но очень деловитый.

Лидия Павловна

Ушел и пропал на весь день. Я уже начала подумывать, что он мог уехать в город, так и не попрощавшись. На электричке или на попутке. Стала поглядывать на телефон: может, вот сейчас позвонит и скажет: все в порядке, Лидия Павловна, я дома, спасибо за гостеприимство. Странно он появился: ни сумки, ни телефона, но с тортом и букетом. Приехал без звонка и так же без предупреждения пропал.

Но вечером, часов в восемь – уже начало темнеть, и уютными маячками засветились окна соседних дач – протопали шаги на дорожке к дому. Потом зашуршало на крыльце, но никто не постучал. Выглянула из-за занавески. Темная фигура сидит на ступеньках. Вышла.

– Здравствуй, Антон.

– И вам здравствуйте. Уже вроде виделись утром.

– Так ты не уехал?

– Как видите.

Помолчали.

– Зайдешь в дом? Прохладно уже.

Начал вставать и стало понятно, что он нетрезв. В руках какой-то пакет.

– Что это у тебя?

– Это? А это еда нормальная. Вы же тут сидите у себя на огороде, у вас тут и картошечка, и огурчики. А едите какую-то овсянку. И ту варить не умеете.

– Иди в дом.

Я всегда старалась избегать конфликтов, мне никогда не нравилось ругать учеников. Когда что-то случалось, я чувствовала себя виноватой даже больше, чем они. Не знаю почему. Дочка сказала: эмпатия. Да, наверное, потому что я старше, взрослее, я проживала уже все это, это пройденный материал. А им кажется, что они первые во вселенной, с кем происходят эти неудачи и несудачи. Каждый раз вместе с ними я проживаю все это еще раз, снова прохожу через разочарование и отчаяние, когда очередной их подвиг на проверку оказывается не более чем дурацкой выходкой. И когда подвиг – пусть маленький – наконец совершен, и совершен ради одного единственного человека в классе, а этот единственно важный человек подвига даже не заметил. И когда отвернулся тот, кого считал лучшим другом. Все эти неизменно сбывающиеся законы подлости – в школе они почему-то особенно заметны. Я знаю много законов, по которым будет развиваться дальше жизнь. Один из самых безжалостных – закон временных мер и бесконечных компромиссов, которые шаг за шагом уводят все дальше от той светлой и широкой дороги, которой когда-то мечталось идти. Если бы сразу кто-то показал, где будет конечный пункт этого движения, скорее всего и не поверил бы, и ни за что бы не согласился там оказаться. А так, постепенно, шаг за шагом и приходишь к этим будням, в эту двухкомнатную квартиру со старыми обоями, к будильнику, трамваю и овсяной каше по утрам.

Антон

Других идей нет. Так и просижу всю жизнь в деревне. Наймусь сторожем куда-нибудь на лесопильню. Стану жить в заброшенном доме, по осени ходить за грибами и ягодами, научусь гнать самогон. Буду слушать радио и заведу кур.

Сидел и думал о том, чем кормят кур. Я реально не знаю, что они жрут. Наверное, зерно какое-то. Тут вышла Лидия. Думала, наверное, что я уже в город свалил. Так ты, говорит, значит, не уехал.

Опять сели за стол. Притащила из холодильника торт, который я ей привез. На вкус такая гадость – как сладкий жирный пластик. Интересно, куры стали бы такое жрать?

– Слушайте, – говорю, – Лидь Пална, а у вас покрепче этого вашего чая ничего нет?

Но она, конечно, не повелась.

– Тебе, – говорит, – Антон, на сегодня, кажется, уже достаточно.

Она, наверное, и не пьет ничего крепче кофе. По праздникам разве что позволяет себе бокал шампанского. Как вообще живут такие люди, у которых нет праздников, у которых вся одежда скучно-приличная, дни одинаково будничные, мысли спокойно-правильные? Сидит напротив, смотрит своим шершавым взглядом. Кофточка под самое горло застегнута на все пуговицы. Класснуха.

– Ты сейчас ложись спать, а утром поезжай домой, Антон. Может, тебе деньги нужны? Я дам, только ты скажи, сколько тебе нужно.

– Вы что это, меня выгоняете? Да ладно, вы же наша Лидия Пална, наша класснуха! Вы не можете меня вот так взять и выгнать!

– Класснуха? Так вот как вы меня называли!

– Нет. Мы вас не так называли.

– Не так? А как тогда?

– Нет, не скажу. Не могу.

– Что-нибудь очень обидное?

– Да нет, в рамках приличия. Зачем вам теперь-то?

– Просто интересно. Ладно, ложись спать.

Лидия Павловна

Я сплю очень чутко, особенно ближе к утру. Когда он встал там, в соседней комнате, посмотрела на часы, было без пятнадцати пять. За окном, за занавеской, еще темно. Снаружи совсем тихо, и от этого хорошо слышно все, что происходит в доме. Антон возился в гостиной, чем-то пошуршал, походил, поскрипел половицами. Пол ужасно скрипит в комнате, но так руки и не дойдут, наверное, тут ремонт делать, только если зять возьмется. Это столько хлопот и столько денег надо. Да уже и не хочется ничего менять. Никакой радости с этой дачей, одни заботы.

Антон проскрипел на веранду, загремел там посудой. Что он там возится? Потом стукнула дверь. Все, уехал. Как раз на первую электричку успел.

Антон

Сначала я подумал: зачем в такую рань? Не видно ж ничего! Но пока собрался, уже начало рассветать, на небе проявились светлые облака, вроде не дождевые, а просто пасмурные. Вся трава была мокрая, но Миша дал резиновые сапоги, куртку, кепку. Все немного большое. Он сказал – это его брата. Сели в машину – старую уже понизу ржавую «девятку» – и поехали. Мишина жена тоже поехала с нами.

Отъехали совсем немного, километров двадцать, может быть. Вышли на промозглую обочину, взяли корзины. Я за грибами уже, наверное, лет сто не ходил. Когда на летних каникулах приезжал к бабке с дедом в деревню, то в лес выбирались часто, а потом, после школы, как-то не до того стало.

Разошлись. Здесь лес был уже не лиственный, как возле садоводства. Это был настоящий сосновый бор. Все пространство вокруг исполосовано снизу вверх прямыми красноватыми стволами, такими ровными, словно кто-то прочертил их по линейке. Как на уроке геометрии у Лидии Палны. Под ногами мягко пружинил мох, птички какие-то перелетали с ветки на ветку и запыленно свистели: наверное, сигналили своим о вторжении людей.

У бабки с дедом в деревне лес был похожий, и грибов там было полно, так что меня еще с детства научили хорошо в них разбираться. Дед признавал только белые, мог снизить еще до груздей. Ну а как же – такая закуска! А бабушка мела все, что попадалось ей под ноги: и грибы, и ягоды, и травки всякие. С собой в город давала мне банки с вареньем и солеными грибами, холщовые мешочки с сухими травами. Зверобой – от всех болезней, земляничный лист – от простуды, душица – от кашля. Но в городской квартире грибы из банки становились уже совсем не такими. Вкуснее всего есть их было, конечно же, сразу, в тот день, что собирали. Поджаренными в сметане на большой чугунной сковородке, с картошкой со своего огорода. Я выуживал вилкой из тарелки кусок гриба, горячий, лохматый, ароматный и спрашивал:

– Это кто?

Бабушка всегда знала и отвечала:

– Подберезовик. Сыроежка. Красненький.

Столько лет прошло уже, но почему-то сейчас вдруг подумал: а откуда она знала? Поди там разберись, когда все они порезаны и перемешаны с луком и сметаной. Может, просто так говорила, наугад, чтоб только отстал и пошел скорее на улицу гонять мяч с местными мальчишками? Стало обидно: неужели обманывала? Но тут заметил во мху ярко-желтое пятно, как будто солнечный зайчик, обработанный фотошопом, – лисичка. А рядом еще. Ну вот, пошло дело. Надо будет теперь где-то сметаны достать.

Лидия Павловна

На веранде под бумажной салфеткой меня ждал завтрак: два обжаренных в яйце куска хлеба и творог с россыпью черники. Знак благодарности? Прощание? Просьба извинить? Смешной мальчишка. Уже, должно быть, добрался до города.

Какое сегодня число? Представила себе дом с заколоченными на зиму окнами. Стало до смешного жаль его, словно это было живое существо. Жалко, конечно, не этот старый домик, жаль уезжать, расставаться с августовскими спокойными вечерами. А ведь первые годы я не любила здесь бывать. Но муж настаивал, повторял без конца эту банальщину: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Старая формула, в которой все теперь нужно поделить на два. Не настоящий дом – а летний дачный домик. Не могучий дуб – а пара яблонек. Не сын, а дочка. Почему в жизни никогда не получается так, как задумываешь? Почему все приходится делить и вычитать? А умножаются и прибавляются только болезни и разочарования. Может, у них получится лучше, у моих подрастающих, взрослеющих учеников? Вот у Антона, может быть.

А ведь и правда: раньше я не любила ездить сюда. А потом привыкла и привязалась уже к этим невысоким узловатым яблонькам, лесу, стоящему там, дальше, за поселком, к тишине по вечерам. И все-таки надо будет как-нибудь сломать эту привычку и вырваться к морю хоть на недельку. Море – это счастье. Не на пляже, конечно, среди лежащих на песке тел, суетливых мамочек, вечно жующих что-то детей и отцов, разглядывающих из-под козырьков чужих оголившихся женщин. Хорошо, что пляж – это только тонкая полоса вдоль воды. А счастье – оно там, дальше, глубже. Огромный, не зависящий ни от кого поди надводный мир, широкий, ничем не стесненный. Почему-то подумала, что выйти на пенсию – это будет, как уйти в открытое море, подальше от берега, подальше от всех и от всего. И август будет длиться без конца.

Антон

Нашел огромный белый – крепкий, на толстой ноге, шляпка в две мои ладони, темная густо-коричневая, аромат – зашибись! Миша заревновал, сказал: это гриб старый, плохой уже. А я ножом провел по шляпке – внутри идеально гладкая белая грибная мякоть и ни червоточинки.

Грибов набрали по полной корзине. Подберезовики на длинных тонких ногах, крепкие подосиновики, золотые россыпи кудрявых лисичек, белых тоже много, но самый-самый – у меня. Присели на упавший ствол, пили чай из термоса, перекусили бутербродами и вареными яйцами. Мишина жена стала что-то расспрашивать про город. Только зачем? Куда она торопится? Скоро все равно закончится лето, закроете вы здесь ваши садовые домики, заколотите досками окна, чтобы бомжи не влезли, и покатите на этой раздолбайке в свою хрущевку. Будете ходить на работу пять дней в неделю, а по вечерам телевизор смотреть и ругаться. Пылесосить, в магазин ходить, с соседями на лестнице здороваться.

Интересно, а можно наняться сюда лесником? Всю жизнь прожил бы в этой красотище! Ходить по мягким мхам, дышать теплым сосновым духом, есть из горсти бруснику, приносить домой тяжелые корзины грибов, собирать и сушить под потолком лесные травы. Можно научиться охотиться. Если я стану лесником, мне обязательно должны выдать ружье. Научусь стрелять. Но охотиться буду только на птиц. Потому что настоящего зверя, зайца какого-нибудь, наверняка жалко убивать – он мохнатый, глаза блестящие, понятливые. У меня тоже глаза понятливые. Но меня, наверное, не жалко будет убивать.

Лидия Павловна

Только вышла с лейкой к клумбе, той, где у меня флоксы, как увидела, что со стороны поселка к калитке подходит Антон. Он тоже меня заметил, замахал рукой. Шагает довольный, в руках корзина, а сам в резиновых сапогах, в какой-то кепке. У меня, кажется, даже давление подскочило.

– Лидь Пална! Это я! Смотрите, сколько мы грибов набрали! Я вам сейчас покажу, какой я белый нашел.

– Антон? Так ты не уехал?

– Вы меня вчера уже спрашивали. Нет, не уехал пока что. Смотрите, какой гриб! Царь грибов! У вас сметана есть, Лидь Пална?

– Какая сметана, Антон?

– Ну, какая-нибудь сметана. Свежая желательнее. Чтобы грибы приготовить. Хорошо бы вы еще картошечки сварили. Давайте так: вы чистите картошку, а я – грибы. Только когда будете картошку варить, вы обязательно бросьте в воду пару долек чеснока. И можно еще лаврушечки немного. Для аромата.

– Антон, подожди...

Но он не делал пауз, не давал слова вставить. Отгораживался от меня этой веселой болтовней, нагородил ее много, надеясь отсидеться там, как за забором. Протопал в чужих резиновых сапогах по участку, решил, что чистить грибы лучше всего на веранде, застелил стол газетами, чтобы не пачкать клеенку, потребовал кастрюлю, таз, ножик. Стал показывать свои трофеи, заставлял понюхать грибные шляпки, оценить размер, удивиться количеству.

Я больше не возражала, уступая его напору, послушно склонялась над крепкими, вынутыми из мха грибами, втягивала их вкусный острый запах, стряхивала за порог ненароком принесенных в корзинке лесных паучков, вспоминала рецепты.

– Уж разрешите, Лидь Пална, сегодня я приготовлю. Самое простое блюдо – а значит, самое вкусное. Какой смысл изощряться с едой, которая и так хорошая? Поджарим картошечки деревенской, добавим лучку, укропчика. У вас укроп тут растет? Вот и хорошо. А грибы потушим в сметане. Доставайте-доставайте сковородку, нет, вон ту, побольше. Где у вас соль?

Пока скворчали на плите грибы, Антон вымылся, переоделся в свою городскую одежду. Стал как будто меньше, проступила усталость. Он заметил это сам. Достал откуда-то, из вечерашнего принесенного пакета, бутылку водки.

– Откуда это? Зачем?

– Это, Лидь Пална, исключительно в гастрономических целях. Я же не самогон вам предлагаю. Это к грибочкам. Вот увидите, как хорошо пойдет. А вы случайно огурчики не солите?

Пошла за огурцами. Вернулась с шалью на плечах и банкой соленых огурцов. Хотела быть строгой, но над столом витали такие вкусные запахи, что устоять было невозможно, и я улыбнулась тому, как хорошо было в комнате. На столе ароматным дымком исходила сковорода, в тарелках парила картошка, аппетитно пушилась зелень, из радиоточки мурлыкала какая-то старая песенка. За окном было уже почти темно и на соседском домике засветили фонарь, там тоже все было сейчас обжитым и уютным, кто-то переговаривался, лаяла собака.

– Антон, а где букет? Тот, который ты мне подарил?

– А он вам нравился?

– Честно? Не очень.

– Вот и хорошо. Я его выкинул. Знаете, когда покупал, казалось, что это то, что надо. А приехал сюда и понял, что это туфта. У вас тут цветы лучше.

Побежал на веранду, принес керамический кувшин с астрами, которые я сегодня срезала. Налил в стопки водку, и я снова не возражала. Впрочем, выпили совсем немного.

– Ну что, Антон, теперь ты мне наконец все расскажешь.

Я не спрашивала и не просила, а просто говорила ему, что он должен сейчас сделать.

Антон

– Знаете, Лидь Пална, я вам наврал тогда про банк. Хотя, если быть точным, то не совсем наврал. В тот день я работал как раз в банке. В одном очень крутом крупном банке, который я вам даже называть не буду. Знаете, как говорится, меньше знаешь... Так вот, а у меня свой бизнес, вы все правильно помните. Маленький, но свой. Вы, наверное, когда узнаете, чем конкретно я занимаюсь, скажете, что это несерьезно. Но вы с этой сферой совсем не знакомы, а у нас, между прочим, все по-настоящему: тоже конкуренция, бухгалтерия, борьба за клиентуру. Приходится крутиться по-взрослому, так что вы не думайте. После аттракционов и после того, как я держал контактный зоопарк – я ведь вам рассказывал про енотов и игуану? – так вот, после этого я понял одну вещь. Знаете, чего хочется всем людям: и детям, и взрослым? По сути, все мы – и маленькие, и подростки – хотим одного. Знаете чего? Удивляться! Люди хотят впечатлений, эмоций. Вот на чем можно заработать.

– Торговать эмоциями?

– Ну, типа того. У меня магазинчик есть в городе, на Садовой, называется «Подари праздник», ну и интернет-магазин тоже. «Организация самых невероятных впечатлений по самому высшему разряду». Не слышали? Вот видите, недостаточно широко работает моя рекламная компания. Что вы так брови подняли? Не очень удачно звучит? Да, согласен. Давно хотел нового пиарщика нанять, да теперь уже, наверное, все равно. Ладно, суть моего бизнеса в том, что у нас можно заказать подарок-впечатление: прыжок с парашютом, плавание в бассейне с дельфином, свидание на крыше, катание на лошадях – верхом или в карете. В карете дороже. Заказ букетов, фейерверки, голуби на свадьбу, ну и, конечно, всякая мишура: свечи, шары, карнавальные костюмы. А в банке на самом деле работает Сергей Минченко. Помните его? Он к нам перешел только в восьмом классе. Мы с ним тогда сразу и подружились. Так вот Серега теперь заместитель начальника в банковском отделе кадров. Он-то мне и подогнал хороший заказ: организовать в их отделении корпоративную вечеринку по поводу какой-то даты. Да, по случаю юбилея открытия этого их филиала. Поставить букеты в банкетном зале и в кабинетах руководства, развесить шары на фасаде, подарить памятные сувениры всем сотрудникам, накрыть небольшой фуршет, перед тем как руководство отправится гулять уже серьезно, в ресторане. Что они будут делать в ресторане, меня не касалось, там уже другие люди работали. Я вас не буду, Лидия Пална, подробностями утомлять, но я готовил этот праздник месяца три. А потом буквально за пять минут произошло такое, что мне пока в городе лучше не показываться. Давайте я по порядку все расскажу, хорошо? Ну вот представьте себе отделение банка. В холле музыканты играют что-то легкое. Сотрудников одарили сувенирами, все в благостном легком подпитии. Кругом красота: коридоры и лестницы увиты лентами и увешаны шарами – все в их корпоративной цветовой гамме. Настроение праздничное, расслабленное. У них-то понятно почему, но и у меня тоже, потому что все, что по договору было прописано, мы уже выполнили, и я уже всех своих помощников отпустил. И вот все окей, все довольны. Я даже

бокал шампанского выпил, раз от меня больше ничего не требовалось по работе. Тут подходит ко мне мой Серега и говорит:

– Слушай, Антоха, мы в кабинет генерального только один букет поставили? А можно ведь еще чего-нибудь быстренько туда добавить? Я-то думал, он сразу в ресторан поедет. А мне сейчас позвонили и сказали, что он сначала сюда припрется. Так что я пойду его у дверей встречать, а ты пока метнись на второй этаж, придумай там что-нибудь еще, ладушки?

И сует мне ключи от двери. Я прикинул, что можно еще один из букетов, которые были выставлены в коридоре второго этажа, перетащить в этот генеральный кабинет. Поднялся, открыл дверь. Кабинет у их директора оказался очень большой и невероятно крутой. Стиль хай-тек – знаете? Ну, это когда все такое гладкое и ничего лишнего, и цвет только белый и серый. Металл и пластик, как на космическом корабле. Тоскливо, но очень дорого. Вы будете смеяться, но я даже выключатель на стене не нашел. Не знаю, там все так круто выглядело, может, надо было просто в ладоши хлопнуть, чтобы свет зажегся. Но, во всяком случае, даже без света было ясно, что лучше бы в праздничный вечер цветов тут стояло побольше. Поэтому я занес из коридора букет, а потом подумал, что надо бы принести еще один. Захожу со вторым букетом в этот невероятно крутой полутемный кабинет, а меня вдруг кто-то спрашивает:

– Это для меня цветы?

Пока я ходил за этим последним букетом, в кабинет вошла девушка. Дверь-то оставалась открытой. Она вошла и села в кресло для посетителей. И сидит в полутьме, тоже, может, не знает, как тут свет включить. Я поставил букет, расправил его и говорю:

– Идемте, мне надо дверь закрыть.

А она волосами в сумерках встряхнула:

– Нет, я лучше тут останусь.

И включила настольную лампу. Тогда я увидел, что девушка тоже была не простая, а под стать кабинету. Огромные глаза, волосы темные, гладкие, как шелк, стройная, в вечернем платье каком-то невозможном с открытыми плечами, туфли на высоких каблуках. Одним словом, не девушка, а рекламный ролик. Сидит в кресле нога на ногу, и улыбается мне.

– Так это не для меня цветы?

А я говорю:

– Если вы не руководите этим отделением банка, то должен вас огорчить: цветы, действительно, не для вас.

Она сделала вид, что расстроилась и просит:

– Ну все равно, вы хоть поставьте их поближе. Вот сюда, на стол.

Хотела показать, куда надо переставить букет, стала поднимать руку, и тут у нее что-то случилось. Сначала ни она, ни я не поняли. Потом она посмотрела и говорит:

– Ой, у меня, кажется, браслет за платье зацепился.

И видно, что теперь она уже не притворяется, а по-настоящему расстроена. Вскочила, пытается одной рукой что-то сделать, раскраснелась, только что не плачет, и кричит мне:

– Ну что ты стоишь, не видишь, что ли? Иди, помоги мне! Что я буду делать, если платье сейчас порву? Мне надо в ресторан ехать, а там гости и журналисты!

И что я должен был делать? Конечно, подошел, присел перед ней посмотреть, что там случилось. А у нее, действительно, замочек браслета зацепился за ткань платья. Браслет золотой в виде цепочки с какими-то подвесками, а платье длинное, шуршащее, даже непонятно какого цвета, темное, с переливами и с высоким разрезом сбоку. Вы, Лидь Пална, уже не моя классная, так что я могу вам сказать. Я ведь взрослый мужчина, глаза сами собой скользнули в этот разрез, непроизвольно. Я смутился, глянул на нее. А она все поняла, но не рассердилась. Наоборот, рассмеялась и юбку немного распахнула, так что даже стало видно, что она в чулках. И как-то само собой получилось, что я поднял руку и провел по ее ножке. И вот я смотрю на нее, а она на меня, сверху вниз. Глаза блестят, ресницы огромные, губы приоткрыла, шелковые

волосы рассыпались по плечам, и вся она словно светится, а пахнет так, что хочется только вдыхать и никогда не выдыхать.

– Так что? – спрашивает и смеется. – Ты сделаешь что-нибудь с этим браслетом или так и будешь на меня смотреть?

Я отвел глаза от ее лица, подергал осторожно за ткань и за металл и говорю:

– Надо замок на браслете разжать, но тогда вы его надеть сегодня больше не сможете.

– Хорошо, – говорит, – действуй. Мне главное, чтобы платье было в порядке. Оно знаешь, сколько стоило? Тебе столько за год, наверное, не заработать. Так что смотри, осторожнее там. А с браслетом делай что хочешь.

– Но браслет-то тоже, наверное, дорогой, золотой ведь. Что, если сломаю? – спрашиваю. И так получилось, что руку все еще держу на ее ножке, не нагло, а так, чуть касаюсь немного ниже колена, как будто придерживаю ее, чтобы она не упала. А она отвечает:

– Я же сказала тебе: делай что хочешь!

И вдруг я чувствую, что что-то изменилось, она как-то окаменела вся. И понимаю, что сзади кто-то стоит. Обернулся, смотрю: в дверях появился молодой мужчина, высокий, худой, рыжий и смотрит на нас. И тогда девушка рассмеялась, но как-то не очень искренне и говорит:

– Да, дурацкое положение.

Тут я понимаю, что стою перед ней на коленях, носом чуть ли не под распахнутую юбку и держу ее за ногу. А последнее, что она мне сказала и что этот мужчина мог услышать, было «делай что хочешь». И тогда девушка мне говорит:

– Ну, теперь ты можешь идти. Ты хотя бы попытался. Думаю, теперь Виктор мне поможет.

Я, конечно, быстренько руку убрал и поднялся. А этот мужчина, который, значит, Виктор, подошел к нам, смотрит мне прямо в глаза и спрашивает:

– А вы, собственно, кто?

А я прикинул, что Виктор вполне мог бы потянуть на хозяина этого кабинета. Что-то такое от него исходило, что становилось понятно: он-то знает, как в таких помещениях свет включается и где тут что должно стоять и лежать. Тут у меня хватило ума сказать:

– Я – А нтон Скворцов. Организация самых невероятных впечатлений по самому высшему разряду.

А рыжий так задумчиво переспрашивает:

– Организация невероятных впечатлений? Это вы сейчас что имеете в виду?

Я только потом уже понял, как это в тот момент прозвучало, и что он мне в эту минуту должен был дать кулаком в лицо, тем более что он уже потихоньку начинал заводиться и снова спросил:

– По высшему разряду? Это каким же видом спорта ты тут занимаешься, спортсмен-разрядник?

Но тут вмешалась девушка и говорит:

– Витюша, давай отпустим молодого человека.

А он ей:

– Уже переживаешь за него?

Тогда она ему сказала:

– Витюш, давай не будем при обслуге выяснять отношения. Он – никто, цветы принес просто. Я понимаю, как мы выглядели со стороны, но ты сейчас сам поймешь, что произошло. Посмотри, что у меня случилось!

Дальше я уже не слушал, развернулся и ушел. Чтобы им при обслуге не выяснять отношения. Да, разозлился. Но не из-за девушки, точнее, не из-за того, что у нее есть кто-то другой, понятно ведь, что такие девушки сами по себе не бывают. Разозлился я потому, что понял: она с самого начала смеялась надо мной, для нее я не человек, а так, мальчик подай-принеси.

Так что я просто развернулся и ушел из этого их крутого кабинета, а на лестнице меня уже дожидался Серега.

– Ну как, отнес генеральному букет?

– Отнес, – отвечаю. – Даже два.

– А он тебя не видел? – спрашивает Серега и мелко так подрагивает. И смотрит так настороженно, как будто спрашивает, не попался ли я на глаза дракону в их подземелье с сокровищами.

– А ваш генеральный как выглядит? – спрашиваю. – Высокий такой, худой, рыжий, и звать Виктор?

Серега еще мельче затрясся, губы облизывает и шепчет:

– Виктор Николаевич. Он не любит, когда ему обслуживающий персонал на глаза попадает. Мы уже трех уборщиц из-за этого уволили.

Тут уж я по-настоящему разозлился и говорю:

– А где ты, Серега, здесь видишь обслуживающий персонал? Я такой же бизнесмен, как этот твой рыжий Виктор Николаевич. Почти такой же, только без богатенького папочки. Потому что если он в таком возрасте уже у вас генеральным директором посажен, то каждому понятно, что это не его заслуги в банковском бизнесе, а удачная родословная. И, если хочешь знать, я не просто ему на глаза попался. Там у него в кабинете девушка была, которая его «Витюшей» называет, то есть явно не прислуга. Так вот, у нас там с этой барышней, знаешь, неожиданно такая пикантная ситуация сложилась, что я, как джентльмен, тебе даже и не должен был бы об этом говорить.

Развернулся и хотел уйти, а Серега меня догнал, схватил за рукав и шепчет:

– Ты вот что, Антоха, поезжай лучше сейчас домой. Он ведь не знает, кто ты. Мало ли кто из гостей зашел или из официантов с банкета. Ты, главное, здесь больше не светись, чтобы неприятностей не было. Тем более, что это у него там его невеста. Ты потом намери меня, расскажи, что там у вас произошло. А сейчас давай руки в ноги и от греха подальше. И от камер наблюдения тоже лучше подальше держись.

А сам стоит на лестнице, увитой их корпоративными ленточками, и весь трясется от страха. Тьфу, думаю, мне бы вот ни за какие деньги не нужна была работа, на которой вот так прогибаться надо.

– Так и что же было дальше, Антон? Этот банкир начал тебя как-то преследовать, угрожать?

– Вечером мне позвонил Серега. И все стало еще хуже. Оказалось, что этот Виктор, их гендиректор, заезжал в банк за каким-то важным документом и уехал злой, потому что документа не нашел. И вроде так получалось, что я мало того, что приставал к его невесте, так еще мог и украсть этот документ. Серега стал просить, чтобы я никому не рассказывал, что это он дал мне ключи от того кабинета и уговаривал из города уехать на время. Понарассказывал всякого про этих банкиров. Самое главное, что нужно знать про Виктора Парщикова, их генерального директора, это то, что его отец – один из совладельцев этого банка и хозяин еще много чего другого. Он в девяностые годы под себя чуть не пол нашего города подмял. Говорят, никого не щадил, кто у него вставал на пути. Вот теперь и наследный принц Витюша спокойно увольняет сотрудников целыми отделами, носит часы стоимостью с этот ваш летний домик, а последний свой день рождения отметил со скандалом в загородной резиденции русских царей – и нисколько его не смутило, что это вообще-то музей. Сергей рассказывал, что когда Витюшин папаша устал работать в банке и посадил на свое место сына, то все поначалу путались и называли Виктора Николаевича именем отца – Николаем Витальевичем или как-то так. Витюша обозлился и запер их в банке на целую ночь. Весь коллектив. И сказал: сидите, учите, как меня зовут. Вот такой это человек. И тут появляюсь я, Антон Скворцов, хватаю за ногу его невесту и заглядываю ей под юбку. И после этого еще какой-то важный документ

пропадает из его кабинета. Я вас понимаю, Лидь Пална, вы сейчас так смотрите на меня скептически. Я ведь тоже сначала ко всему этому не очень серьезно отнесся. Но на следующее утро мне из магазина позвонила Верочка, продавщица, и сказала, что нам ночью витрину разбили и ограбили. А сигнализация почему-то не работала. И я понял: все, началось.

Лидия Павловна

Какой же он еще мальчишка! Сколько ему сейчас? Получается, двадцать пять или двадцать шесть. Что-то надуманное есть в этой истории. Или просто мне сложно воспринимать Антона всерьез, потому что он так и остается для меня двенадцатилетним мальчиком в пятнах зеленки, самозабвенно врущим про пингвина, живущего у него в ванной. А сейчас он просто боится возвращаться домой, потому что соседские мальчишки могут побить из-за какой-нибудь очередной его выдумки.

Наутро Антон снова начал бегать по дому, по участку, словно боялся остановиться, сделать паузу, задуматься над тем, что происходит. Нашел муку, объявил, что не подпустит меня к плите, и принялся жарить блинчики. Не могу понять, приятна мне эта его так называемая забота или она меня раздражает. Он балансирует на грани бесцеремонности.

– Антон, я хотела поговорить с тобой по поводу этой истории, которую ты мне вчера рассказал. О том, что произошло в банке.

– Лидь Пална, а вы кофе не пьете?

– Редко. Если хочешь, возьми, вон там в буфете есть растворимый. Так мы можем поговорить?

– Можно я эту чашку возьму?

– Бери.

– Если бы у вас был молотый кофе, я бы сварил вам сейчас. Знаете, как я варю? С корицей и гвоздикой. Это такой аромат! И можно еще пару горошинок перца добавить...

– Антон!

– Ну хорошо. Ладно. Слушаю вас.

– Спасибо. Мне кажется, ты немного преувеличил опасность, которая тебе грозит. Этот банкир – что он может тебе сделать? Ты не его подчиненный, и он не вправе тебя уволить. С этой девушкой ты пробыл наедине минут пять. Я не умаляю твоих достоинств, но за такое короткое время ты вряд ли успел бы ее соблазнить. И если в банке есть камеры наблюдения – ты, кажется, упоминал об этом, – легко будет доказать, что никаких документов ты не брал.

– Как у вас все просто получается, Лидь Пална! По-вашему, все должно быть правильно – так, как в математике. Вот два человека, один и еще один, и вот получается два. И не надо разбираться, мучиться, выучил один раз, что дважды два – четыре, и это всегда так и будет. А с людьми... сложно. Слушайте, как у вас хватало только терпения на нас тогда, в школе? Мы же еще мелкие были, с детьми еще сложнее, наверное. Да и со взрослыми не легче. Так, значит, вы мне не верите?

Брови сдвинул, смотрит исподлобья. Узнаю тебя, Антон Скворцов из шестого «Б», предпоследняя парта у окна.

– Я верю тебе. Но скажи: что ты будешь делать дальше?

– Что я буду делать дальше? – Действует по моей науке. Я всегда говорю им: у доски не молчите. Можно повторить вопрос учителя и за это время обдумать ответ. А если вы молчите, я могу подумать, что вы ничего не знаете. Впрочем, сейчас, когда он повторяет мой вопрос, я вижу: он не знает ответа.

– Да, что ты предпримешь сегодня? Позавчера ты чинил забор, вчера поехал за грибами. Что сегодня? Отправишься на рыбалку?

Смеется:

– Хорошая идея!

– Хорошая. А потом будешь варить уху. Знаешь, что ты делаешь? Ты просто убегаешь таким образом от своих проблем. Прячешь голову в песок.

– Вы считаете, что я убегаю от проблем? Это когда я чиню ваш забор или жарю блины? Нет, Лидь Пална. Это просто другой сюжет. Это я, пока у меня минутка выдалась, решаю ваши проблемы.

– Ты решаешь мои проблемы? Интересно. За то, что забор починил, конечно, тебе спасибо большое. Его действительно надо было поправить. Но с завтраком я бы могла и сама справиться.

– У вас, Лидия Пална, проблема не с забором и не с завтраком. У вас проблема с праздником.

– Каким праздником?

– С праздником, про который вы забыли!

– Я забыла?

– Да, Лидия Пална, вы забыли, что в жизни должен быть праздник. А у вас одни будни. Пресная тепленькая овсянка, неяркие кофточки и немаркие зелененькие стены.

– Я не понимаю, какое это имеет отношение к твоей истории, Антон. Ты проводишь время в моем доме, хотя я тебя и не приглашала, и теперь берешься осуждать то, как я живу. Захотелось встать и уйти. Наглый мальчишка. В конце концов, я у себя дома.

– Вы еще скажите что-нибудь типа «вот доживешь до моих лет».

– Не дерзи мне.

Помолчали.

– Хорошо! – хлопнул ладонями по коленям, поднялся. – Пойдемте!

– Куда?

– Да здесь недалеко, на участке.

Я уже готова ждать от него любых сюрпризов. Кажется, опять у меня растет давление. Пошла за ним на крыльцо.

– Лидия Пална, скажите, какие у вас тут любимые цветы?

Обводит рукой мои клумбы. Торчащие вдоль стены стрелы гиацинтов? Нет, я совсем не люблю их, но соседка дала семена и все время спрашивала, взошли ли. Плетистые настурций с поздними рыжими цветками или простодушные пестрые флоксы? Так они всегда тут у меня растут. Еще что-то прошлогоднее, многолетнее вдоль забора, я даже не помню названий, так и говорю «беленькие», «желтенькие». Мои любимые? Я всегда любила георгины: тяжелые сложные благородно-бордовые соцветия. Они казались мне королями среди простенькой ромашковой челяди.

– Так что? Какие здесь ваши любимые?

– Я люблю георгины.

– Георгины? Это которые?

– В этом году я их не сажала.

– Вот видите! Поэтому вы меня и не можете понять. Если бы здесь росли ваши любимые георгины, которые вы сами посадили, поливали, ухаживали за ними, и вам бы позвонили и сказали, что их камнями закидал какой-нибудь местный хулиган, на которого управы нет, как бы вы себя чувствовали? Вот и представьте, каково мне было узнать, что этот холеный индюк приказал разгромить мой магазин. Знаете, сколько труда я в него вложил!

Помолчал, глядя на мои лохматые, с осенними залысынами клумбы.

– Вы не можете меня понять. И я вас тоже не могу понять. Зачем вам этот участок, если вы не выращиваете здесь свои любимые цветы?

Антон

Она сказала, что я убегаю от проблем, прячу голову в песок. Блин, она, конечно, права. А почему спрятаться – это не выход?

После завтрака я ушел в лес. Один. Лег на мох и стал смотреть вверх. Мягкий, чуть влажный мох, совсем не холодный, приятно пружинил под спиной. Я бы спрятался в нем. Вон бегают тут какие-то букашки, паучок натягивает тоненькую серебристую ниточку от травинки к березовому стволу, суетится. Им всем тут места хватает. Почему я не могу остаться здесь, вписаться в эту понятную простую жизнь? Рано ложиться, утром завтракать на веранде, слушая, как поют птицы, идти в лес за грибами или на охоту или кормить этих самых кур. Вместо денег пользоваться вот такими золотыми березовыми листочками. Чтобы никакого телика и интернета, а все новости узнавать от соседской бабки-сплетницы. Готовить какую-нибудь простую еду, что-нибудь, что сам вырастил на огороде, поливал, вскапывал. Пить липовый чай. Ложиться спать на закате. Читать книгу перед сном.

Высоко над качающимися вершинами берез и сосен по небу чертил прямую линию крошечный самолетик. Он летел в город. Туда, где шумными стаями носятся по дорогам автомобили, бликуют в свете фар витрины, мелькают рекламы, все движется, кричит, трезвонит. Всего много, все быстро.

Из меня деревенский житель как из слепого дизайнер. Ложусь в два ночи, встаю в двенадцать, телевизор мелькает десятком каналов, мобильник разрывается. Туда подскочить, там договорчик подмахнуть, пересечься с тем и с этим, вечером – в гости или еще куда. Какие, на фиг, куры.

Знаю я, что не смогу здесь остаться, головой – в мох, глазами – в небо. Но думать об этом было приятно. Пусть и не по-настоящему.

Замерз лежать, встал. Прошел еще немного по раскатанной лесной грунтовке. Заскучал и вернулся в дом.

Лидия сидит за столом, читает. Сняла очки, посмотрела на меня. Сейчас спросит:

– Скворцов, а где твоя тетрадь? Ты сделал домашнее задание?

Я, Лидия Пална, не понял, не знаю, как выполнить это задание, не справляюсь я. Вот в шестом классе меня побил Колька Васенин с пятого этажа. Вывалял в пыли, губу разбил, рубашку порвал. Из-за чего он на меня попер, я сейчас уже и не помню. Вот глупо как: помню, как щекотно кровь текла тонкой струйкой по подбородку, как я надеялся, что шрам потом останется и я буду с этим шрамом на губе круто выглядеть. И эту серую пыль на дороге за домом я тоже помню – такую унижительную, мелкую, въевшуюся страхом и оскорблением. Все казалось, что она так никогда и не смоеется с кожи, не вытряхнется до конца из одежды. Я эту пыльную серую дорогу потом полгода обходил. С Колькой я тогда не справился – он меня был старше на полгода и выше на голову. И я пошел в секцию самообороны. Помните, Лидия Пална, у нас прямо в школе была такая, физрук вел. Так вот, и через полгода я Кольку уже не боялся и мог теперь запросто пройти по той самой дороге за домом и по этой серой пыли, попирая его своими кроссовками без всякого стыда и страха. Так я справился с этой ситуацией. А что мне делать сейчас, я не знаю. Этот Витюша из банка – он по жизни в другой весовой категории. И нет такой секции, нет такого учителя, который бы меня научил приемам против такого парня, как Витюша. С его немереным баблом и влиятельным папашей он купит все и всех, он может творить что угодно, и ничего ему за это не будет.

– Антон, я хочу тебе сказать, что ты сейчас не прав.

– В чем не прав? В том, что переживаю за свой бизнес?

– В том, что сидишь у меня на участке и делаешь вид, что переживаешь. Ты был в магазине, после того, что случилось?

– Нет, не был.

– А как же люди, которые у тебя работают? Ты все на них бросил?

Правильная Лидия Павловна со спокойным голосом и сложенными на столе руками. И возразить-то нечего.

– Слушайте, Лидия Пална, а вы в город в ближайшее время не собирались?

– В конце недели хотела съездить. А что?

– Ну, я подумал, вы могли бы ведь зайти в мой магазинчик и посмотреть, что там и как. Может, искал меня кто-нибудь, спрашивал обо мне.

– Мне кажется, ты сам должен заниматься своими проблемами. Я уверена, что тебе ничего не угрожает.

– Ну Лидь Пална, откуда вы знаете? Вы всю жизнь в школе проработали. У вас все дважды два – четыре. Но в жизни так не складывается! В жизни каких только дважды два не бывает! Мы же с вами не знаем, может, Витюша из банка – ревнивый псих и будет мстить до последней капли моей крови или до последней копейки в моем кошельке. И, может, документ, который пропал из его кабинета, это какой-нибудь многомиллионный контракт, и меня уже ищет не только Витюша, но и японская якудза или другая какая-нибудь заграничная мафия. А вы мне отказываете в такой ерунде – просто съездить в город и узнать, что там слышно. Ну Лидь Пална!

Лидия Павловна

Сочувствие. Да, именно так. Я знаю, каково ему сейчас. Уж я-то знаю, каково это – вкладывать все свои силы в то, что потом потеряешь. Двадцать восемь или тридцать человек в классе: лиц, имен, характеров, успехов и проблем. Умножить на пять лет классного руководства. Умножить на еще пять таких классов. Прибавить всех остальных, для которых я не классный руководитель, но учительница математики, алгебры, геометрии. Их непроверенные тетради, потерянные шапки, синяки, оторванные пуговицы, недовольные родители, поездки в театр, классные часы, субботники и дискотеки в актовом зале. В них вкладываешь свои силы, знания, труд. А потом они уходят. Может, потому я и не хочу сажать георгины. Поливать, пропалывать, удобрять, чтобы потом прощаться с ними и на следующий год начинать все сначала. Легче проститься с тем, во что не вкладывал душу.

Но в твои двадцать пять, Антон, ты не должен еще так думать. Ты так и не думаешь. Я знаю, каково тебе и почему ты не хочешь видеть разбитую витрину своего магазина. Обида, страх, беспомощная злость – вот что ты сейчас чувствуешь.

– Антон, почему ты приехал именно ко мне?

– Ну, вообще-то, я подумал, что здесь меня никто искать не будет.

– Про машину, значит, наврал?

– Ну да.

– А я это сразу поняла. Такой торт и букет в нашем магазинчике не купишь. Получалось, ты с самого начала планировал ко мне приехать.

– Вы простите меня за этот торт. И особенно за букет.

– Ну что ты, Антон. Почему ты просишь прощения?

– Торт – это ладно еще, не с пустыми же руками было ехать. А букет я сначала не собирался покупать. А потом увидел камеру видеонаблюдения над магазином. Подумал, что на вокзале их еще больше будет. И что Витюша может проследить, куда я поехал. Я ведь просто на электричке к вам приехал. И тогда я специально купил большой букет, загородиться им от всех на вокзале, чтобы меня на записи с камер было не узнать. А мобильный телефон дома оставил, чтобы не отследили. Ну вот что вы смеетесь, Лидь Пална?

– Ты, наверное, кино про шпионов любишь смотреть, да, Антоша?

– Люблю. Не обязательно про шпионов, я разное кино люблю. Со мной моя девушка из-за этого даже ссорилась. Она говорила: почему ты все время на экран смотришь? А я удив-

лялся: а куда же еще, там же интересно. А она говорила: ну ты же со мной пришел, я, значит, неинтересная? Обижалась.

– Как ее зовут?

– Ксения. Но мы больше не вместе. Оказалось, что это я для нее неинтересен. С этими моими походами в кино и пиццей на дом. Ей хотелось ужинать в ресторане и проводить уикенды в Париже.

– Ну ничего, Антон, ты еще молод. В твоей жизни все еще будет. И любовь, и деньги, и путешествия. Скажи, а откуда ты узнал мой адрес?

– Серега дал. Тот, который в банке работает. Так что не смейтесь, у них там такие базы данных есть, в которых обо всех все известно. Он мне дал ваш адрес в городе и этот, в садоводстве. И сказал, чтобы я на время к вам уехал. У вас-то меня никто искать не стал бы.

Вот и кто их разберет? Что это: мальчишки играют в шпионов, в индейцев и бандитов. А может, уже и не мальчишки, а умные и взрослые мужчины, трезво оценивающие ситуацию в обществе, где горстка людей, в свое время получивших доступ к большим деньгам, живет теперь в убеждении, что им позволено все, по принципу: кто богаче, тот и прав. Мои мальчишки столкнулись сейчас с миром этих людей. Я этот мир могу видеть только по телевизору: люди, живущие во вселенной, вращающейся вокруг больших капиталов, не водят своих детей в нашу муниципальную школу. Я могу судить о том, по каким законам живет современное общество только по телесериалам, которые, впрочем, давно уже не смотрю. Как это страшно, если мои мальчишки сейчас правы. Только на чем замешана их обида? На стремлении к социальной справедливости или, может, просто на зависти? Они боятся или даже ненавидят этих людей в дорогих машинах, во влиятельных креслах, с баснословными часами на запястьях, но, если бы у них был шанс, если бы нашелся богатый дядюшка и оплатил им такую жизнь, какими бы они стали тогда, мои мальчишки? Вот Антон, например? Я, наверное, так и не разобралась в нем до конца.

Антон

Сосед Миша позвал помочь ему с крышей. Все равно делать нечего, не сидеть же с Лидией на участке. Ей кажется, что вся эта история – ерунда. Хотелось бы и мне в это верить. У Лидии все просто, все правильно. А если кто-то поступает плохо – двойка, строгая запись в дневнике. В крайнем случае, можно вызвать в школу родителей. Было бы прикольно отправить классную к Витюшину папаше. Представляю себе: она приходит к нему в приемную. Такая обычная Лидия Пална, в каком-нибудь светлом пиджаке или трикотажной кофте, с прямой спиной, с сумкой своей, со своим учительским лицом. А там сидит секретарша: ноги от ушей, коготочки крашенные, юбочка крошечная.

– Вы по какому делу?

И смотрит так свысока. Но Лидию Палну так просто не возьмешь. Понятно, что в секретаршином мире такие, как Лидия, не котируются. Но дело в том, что в мире Лидии Палны такие, как эта секретарша, тоже ничего, кроме осуждения, не вызывают. Поэтому классная тоже смотрит свысока и отвечает строго так:

– Я по личном делу.

И ее впускают в кабинет. Но сначала охранник заглядывает в сумку: нет ли там оружия или взрывчатки. А там стопка непроверенных тетрадей, пара пустых пакетов для продуктов – потом ведь еще надо в магазин, – косметичка и старенький кнопочный мобильник. Охранник презрительно машет рукой.

И вот Лидия Пална входит в кабинет. А кабинет у Витюшиного папаша еще больше, чем у Витюши. За окнами вид на весь город, а от дверей к окну тянется длинный стол для совещаний. И в самом конце этого стола сидит Витюшин папаша, как там его, а, да, Николай.

Стол такой длинный, что Николая этого не разглядеть, тем более что сидит он спиной к свету. Видно только, что это очень величественный человек в пиджаке. Ну а кабинет, конечно, на пять звезд. Даже в том случае, если кабинетам звезды не присваивают. Там стоит все самое дорогое, даже самая простенькая пепельница – и та единственный экземпляр древнего вулканического стекла, оформленный самым модным дизайнером и омытый по правилам феншюа слезами пяти тайских уборщиц. Николай сидит в дальнем конце длиннющего стола, даже не думает подняться с кресла и спрашивает оттуда голосом влиятельного и очень занятого человека:

– Вы по какому делу ко мне?

А Лидия Пална начинает идти в его сторону вдоль стола и говорить. Стол длинный, поэтому она говорит долго. И само собой вежливо.

– Здравствуйте, Николай Витальевич, – говорит она. – Меня зовут Лидия Павловна, и я пришла, чтобы побеседовать с вами о поведении вашего сына Виктора. Он мальчик одаренный, с живым непосредственным умом. И пока это всего лишь детские шалости. Но ему нужно разъяснить, что одно дело – игра. И совсем другое, когда речь заходит о принятии серьезных решений и о том, что он втягивает в эти шалости других ребят. Мне бы хотелось, чтобы вы побеседовали с ним и о том, что такое деньги и как с ними обращаться. Постарайтесь прививать ему чувство ответственности за свои слова и поступки. Мне кажется, вам надо попробовать построить общение так, чтобы он почаще советовался с вами.

Она говорит что-то в этом роде. Во всяком случае, когда в шестом классе она вызвала в школу моих родителей, то сказала им что-то похожее. Я тогда собирал со всего класса деньги на приобретение воздушного шара, чтобы на каникулах всем вместе полететь в путешествие. Потому что – ну, я, правда, тогда так думал, – если летишь на шаре, можно спокойно перелетать из страны в страну, не соблюдая никаких границ между государствами, и не нужно ни паспортов, ни билетов. Я тогда мечтал стать профессиональным путешественником, а когда мне сказали, что такой профессии нет, то решил, что, когда вырасту, открою свою турфирму. И вот первая моя бизнес-идея была как раз по поводу путешествия на воздушном шаре.

Тем временем Лидия Павловна уже преодолела длину огромного офисного стола и подошла к Николаю. И тут он встал, прижал руки к груди и говорит:

– Лидия Павловна! Неужели это вы? Вы меня не узнаете?

А она, конечно, тут, с близкого расстояния, его сразу узнала:

– Коля из пятого «А» с первой парты!

Вблизи окажется, что этот Николай не такой уж мощный и влиятельный, это просто пиджак ему немного великоват. Тут они, может, даже обнимутся, и Николай скажет с чувством:

– Лидия Павловна! Вы – самый главный человек в моей жизни. Если бы не ваши уроки математики, никогда бы я не стал таким крупным банкиром.

И они отправятся в ресторан, отпраздновать встречу. Охранника и секретаршу быстренько уволят за то, что они не оказали должного уважения любимой учительнице генеральнейшего. Ну и с Виктором, конечно, вопрос тоже сразу решится. Его влиятельный отец строго скажет ему, что, мол, сам виноват. Нечего свою девушку без присмотра оставлять, не говоря уже о том, что если важные документы сам потерял, то сам и отвечай, а не сваливай все на какого-то Скворцова. И вообще Николай окажется классным мужиком, пожертвует нашей школе много денег на ремонт, кабинет математики оформят так, что весь город сбежится смотреть. Ну и Лидию тут же, конечно, выберут учителем года. Собираясь на торжественную церемонию, она пойдет в магазин, чтобы купить новую юбку и кофту. А в этом магазине как раз будут проходить съемки одного из таких женских телешоу, в которых у человека всю старую одежду отбирают, а потом взамен покупают все новое – такое, что очень к лицу. И тут же, конечно, найдется для Лидии новый муж. Ну а что, у людей и в таком возрасте тоже очень еще

может быть семейное счастье. Я попробовал представить, какой муж мог бы быть у Лидии, но ничего не придумал.

Блин, от этой дачной жизни совсем уже крыша едет, такая ерунда в голову лезет!

Ну а с Мишиной крышей, в смысле с крышей его дома, мы провозились довольно долго, но все починили. Мишина жена была очень довольна, позвала обедать и не возражала, когда он достал свою самогонку. Забористое пойло он гонит, надо сказать!

Лидия Павловна

Антон вернулся уже после девяти, причем был заметно пьян. Отвратительная ситуация. Я пошла за лекарством – давление подскочило так, что начало подташнивать. Он увязался следом в мою комнату, плюхнулся на стул у двери.

– Лидь Пална! Вот почему вы не хотите мне помочь? Давайте узнаем, где живет самый главный банкир – этот Витюшин отец, и вы поедете прямо к нему. С моим отцом вы же не боились говорить. Вот и с этим отцом поговорите. И все уладите. Вас-то он послушает.

– Антон, ну что ты такое опять выдумал! Какой еще главный банкир?

– Самый главный. Он тоже наверняка уже в возрасте. Вдруг вы ему понравитесь, и он на вас женится? Только вы оденьтесь сначала поярче как-нибудь. Ну и губы там подкрасьте. Вы же женщина, вы должны знать, как это делается.

– Антон, остановись. Иди умойся и ложись спать.

– Вы сейчас, может, отказываетесь от самого яркого впечатления в своей жизни! Вот вы всегда так. Не, Лидь Пална, ну чо вы такая скучная? Вот вы спрашивали, как мы вас называли, когда вы были нашей класснухой. Сказать?

– Ну скажи.

– Мы называли вас Мидией. Мидия Павловна. Вы знаете, что такое мидия? Это ракушка такая. Две такие створочки, как ладошки. А в серединке там что-то живое. Но как только к этой ракушке кто-нибудь приближается, она сразу створочки хлоп! – и закрывает. И сидит как в домике. Вот и вы такая. Чуть что сразу закрываетесь и делаете вид, что внутри нет ничего живого.

– Антон, встань и выйди. Иди ляг. Тебе надо проспать.

– А знаете, Лидь Пална, если вы все время такая закрытая, то, может, у вас уже и нету там ничего живого внутри, за этими створочками? Умерло все, задохнулось.

Наглый мальчишка. С какой стати я должна выслушивать эту пьяную философию?

– Антон, я оставлю на столе деньги. И завтра утром либо ты уедешь домой, либо я уеду. Ты меня просто вынудил!

– Деньги мне ваши не нужны. Вы что, думаете, у меня денег нет? – кажется, разозлился. Поднялся нетвердо на ноги.

– Не думал, что вы такая!

Антон

Утром проснулся поздно, голова болела. Спасибо тебе, Миша. Хотя, конечно, я сам виноват. Лидия обиженно ходила из своей комнаты на веранду и обратно. Вставать не хотелось, и я натянул плед на голову.

– Антон, ты поедешь сегодня домой?

– Лидь Пална, да вы забудьте просто, что я здесь. Мы же договаривались с вами, если я буду мешать, то вы просто представляйте себе, что это кот на диване.

– Антон, я еще раз серьезно тебя спрашиваю: ты поедешь домой?

– Мяу!

Она постояла немного, потом снова стала решительно скрипеть полом туда-сюда и шуршать какими-то своими вещами. Потом опять остановилась надо мной и сказала:

– Антон, на столе ключи от дома и деньги на электричку. Я записала тебе номер моего мобильного. Надеюсь, когда сегодня вечером я вернусь, дом окажется закрыт, а ты будешь уже в городе. И я уверена, Антон, что все у тебя будет в порядке.

И пошла к двери. Я сел, стянул с головы плед.

– Лидь Пална, вы ведь зайдете в мой магазинчик, правда? Садовая, 28, «Подари праздник». А продавщиц зовут Вера – это молоденькая, а та, что постарше – Светлана. Только не говорите им, что я у вас.

Но она только сказала на ходу:

– До свидания.

И вышла.

Лидия Павловна

За окном электрички мелькают привычные, ничем не примечательные зеленые просторы, перемежаются изредка стеной леса, подступившего к железнодорожному полотну. Классический перестук колес.

Раньше приезжали на дачу на мужниной машине. За рулем – всегда только он. И от этого было чувство беспомощности, вечной зависимости. А потом, когда его житейская программа была выполнена: дом выстроен, деревья на участке посажены, а дочь уже ходила в старшие классы – он решил повторить этот обязательный, по его мнению, круг еще раз. С другой семьей. Разменяли квартиру, но дачу он оставил нам с дочкой. Ему нужен был новый полигон для воплощения мечты о строительстве дома и посадке дерева.

Коллеги жалели меня, а я тогда чувствовала сначала только обиду, обиду обманутой женщины. А потом иногда бывали моменты, когда втайне от себя, исподволь я позволяла себе ощутить облегчение от того, что теперь я больше ничего не должна ему. Жизнь не развалилась, не перевернулась. Она катила по рельсам, привычно отстукивая минуту за минутой, день за днем. Дни, полные детских голосов – дочка, ученики, школа. Домашние обязанности – теперь вдруг их сделалось меньше, и они перестали быть таким гнетущим ежедневным «надо». В жизни появились новые мелочи: визиты электриков и сантехников, которые умели то, что раньше делал муж, передачи по телевизору, которые ему не нравились, электрички вот с этим их колесным перестуком.

Я неожиданно полюбила эти поездки и этот звук – в нем есть что-то доброе, надежное, успокаивающее. Судьба выстукивает телеграмму: тутук-тутук. Обещание на будущее. Движение вперед – размеренное, по заранее проложенным рельсам, по расписанию, с ожидаемыми остановками. Мне нравится безличность этих поездок. Там, где-то впереди, сидит машинист, для которого я всего лишь еще одна пассажирка: вошла в вагон на очередной станции и выйду на конечной. Также, наверно, смотрит на меня с неба Бог.

Антон

Она ушла, и я встал, прошелся по дому, по участку. Блин, все бы здесь переделал. Выкрасил бы стены ярко, от калитки проложил бы зигзагом дорожку, натаскал бы из леса камней, за домиком бы пруд выкопал. Что же у нее все такое скучное! Как будто она сама себе надоела, как будто сквозняком каким-то все выдувает. Походил по участку. Очень хотелось что-то сделать. Она же могла мне говорить все эти пять лет: «Перепиши все заново!» или «Выйди из класса и зайди нормально!» Я бы тоже ей хотел что-нибудь такое сказать. Мидия Павловна, закройте глаза, а потом проснитесь нормально! Войдите радостно в новый день. Съешьте что-нибудь

вкусное. Только обязательно с красивой тарелки. Наденьте что-нибудь нарядное. Оглядитесь, полюбите этот свой домик. Сделайте так, чтобы вам было тут хорошо.

Домик-то довольно уютный, просто потертый, много каких-то сломанных инвалидных вещей. Понятно, что все эти чашки с надбитыми краешками, стулья с потертыми сиденьями, тряпочки какие-то сосланы сюда доживать, после того как их служба в городской квартире была окончена, но все равно.

Подмел пол. Позавтракал. Помыл посуду. Потом придумал, что сделаю. У них есть здесь на соседней улице магазинчик на два зала. В одном – продукты, в другом – хозтовары. Кажется, я видел там банки с краской. Отлично! Если обновить рамы на окнах, дом сразу станет выглядеть лучше. Говорят ведь, что окна – это глаза дома. Недаром же девушки всегда глаза красят. Смайлик.

Лидия Павловна

Теперь за окном проплывали уже не зеленые поля, а какие-то постройки. Бесприютные приметы человеческой городской жизни: склады, стопки бетонных плит, авторемонтные мастерские, пыльные полосы дорог.

И я почувствовала, как внутри меня закрываются какие-то створки, только что распахнутые широко, чтобы впустить перестук колес, зелень за окном, спокойные отрешенные лица пассажиров. Мидия Павловна. Ракушка. Вчера мне было неприятно узнать об этой кличке. А сейчас я вдруг почувствовала, что дети были правы. Я – мидия. Я хочу отгородиться от грубого, чужого, злого, некрасивого. Я хочу закрыться и остаться там с моими книгами, любимыми передачами, хорошими фильмами и песнями, с немногими дорогими мне людьми. Мне достаточно стало мира внутри двух створок моей жизни. Одна створка – утро, вторая – вечер. Одна – начало моей жизни, вторая – ее окончание. От и до.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.